

ГЕЙНЕ

ГЕЙНЕ

3

Н Е М Е Ц К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Н. Я. БЕРКОВСКОГО И И. К. ЛУППОЛА



Том III



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Художественная литература»

МОСКВА • 1939

Г Е Н Р И Х Г Е Й Н Е

Л И Р И К А

РЕДАКЦИЯ ПЕРЕВОДОВ
И КОММЕНТАРИЙ
Я. М. МЕТАЛЛОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Художественная литература»
МОСКВА • 1959

Фронтиспис и виньетка на титульном листе — гравюры на дереве Л. В. Мюльгаупта. Заставки по его же рисункам.
Переплет и супер-обложка по рисункам Л. С. Хижинского.



О Т Р Е Д А К Ц И И

В третий том стихотворений Гейне входят последние большие стихотворные циклы, установленные и напечатанные им самим: «Романцero» (1851 г.) и «Стихотворения 1853 и 1854 гг.». Особую часть тома составляют стихотворения, созданные за период 1851—1856 гг. и ни в какие циклы автором не включавшиеся (поэма «Бимини», басни и романсы 1853—1855 годов и разные стихотворения).

РОМАНЦЕРО



КНИГА ПЕРВАЯ

ИСТОРИИ

Когда изменят тебе, поэт,
Ты стань еще вернее,
А если в душе твоей радости нет, —
За лиру возьмись живее!

По струнам ударь! Вдохновенный напев
Пожаром всколыхнется,
Расплавится мѹка — и кровью твой гнев
Так сладко изольется.

РАМПСЕНИТ

Лишь владыка Рампсенит
В раззолоченное зало
К дочери вошел, — принцесса
Сразу же захохотала.

А за нею — всем служанкам,
Неграм-евнухам потеха;
Сфинксы, мумии хохочут,
Надрываются от смеха.

Говорит царевна: «Мною
За руку был пойман вор твой,
Но он мне оставил руку,
Оказавшуюся мертвой.

Знаю, как сокровищ столько
Удалось похитить вору
Из сокровищниц дворцовых;
Что ему замки, запоры!

Он волшебный ключ имеет
И в какой замок ни вложит —
Дверь открыта. Тут и крепость
Устоять никак не сможет!

Я — не крепость, мне, чтоб сдаться,
Вовсе многого не надо:
Кладовую сторожа,
Я сама лишилась клада».

Так ему царица молвит,
Хохоча, и что ни слово —
Евнухов и камеристок
Раздается хохот снова.

В тот же день уже весь Мемфис
Хохотал, и в желтом Ниле,
Морды высунув, смеялось
Даже племя крокодиле,

Слыша грохот барабана
И рескрипт витиеватый,
Что зачитывал публично
Государственный глашатай:

«Рампсенит, по воле божьей
Царствующий над Египтом,
Мы привет и милость нашу
Объявляем сим рескриптом.

В ночь четвертого июня,
В лето тысяча сто двадцать
Третье, до христовой эры,
Вору дерзкому пробраться

Удалось к нам в кладовую.
Много ценностей и денег
Он тогда унес. В дальнейшем
Зачастил туда мошенник.

Мы, дабы поймать злодея,
На ночь нашу дочь на страже
Там оставили. Преступник
Обокрал царевну даже.

Чтоб с хищеньями покончить
И заверить вора, кстати,
В нашем искреннем почтенье
И в сердечности симпатий, —

За него мы выдать замуж
Нашу дочь соизволяем,
И наследным принцем вора
Милостиво объявляем.

Но пока нам адрес зятя
Остается неизвестен,
Мы свое благоволение
Оглашаем в манифесте.

Дан второго марта, в лето
Тысяча сто двадцать пять
До христовой эры». Подпись:
«Rhapsenitus Rex». Печать.

Рампсенит исполнил слово:
Зятем в доме фараона
Зажил вор. По смерти тестя
Перешла к нему корона.

Правил он не хуже прочих:
Опекал торговлю, даже
Меценатствовал. По слухам —
Он в Египте вывел кражи.

БЕЛЫЙ СЛОН

Король сиамский, Махавасант,
Владеет пол-Индией. Талант!
Двенадцать раджей и даже сам
Великий Могол шлют дань в Сиам.

Знамена пестрят и гремят барабаны:
Тянутся с данью в Сиам караваны.
Верблюды идут, их тысячи штук там,
Навьюченных ценным туземным продуктом.

Король в душе ухмыляется, глядя
На тех верблюдов с богатой кладью.
И, хоть похныкать часто непрочь он, —
Он, мол, теснотой кладовых озабочен, —

Но тех кладовых не охватит взор —
Такая роскошь и простор!
Этой действительности не превозмочь
Всем сказкам про тысячу и одну ночь.

«Твердыней Индры» зовут чертоги,
В которых выставлены боги:
Сплошь золотые, тонок чекан их,
Горят бриллианты в истуканах.

Чудовищные брюха, груди:
Полуживотные-полулюди.
Многоголовых и многоруких —
Там ровно тридцать тысяч штук их.

В «Пурпурном зале» — застынешь на месте,
Увидев тысячу и двести
Деревьев коралловых. Полон чудес
Ветвистый, причудливый красный лес.

Хрустальный пол. В чистейших кристаллах
Отражение зарослей алых.
Там в пышных и пестрых перьях — павы
Гуляют, надменны и величавы.

Средь разных забавнейших обезьян там
Одна есть, любимая Махавасантом.
Висит у нее на шнурке шелковом
Ключ от «Опочивальни» с альковым.

Навалены, как горох, говорят,
Там ценные камни, в десятки карат.
Найдется там не один гигант —
С яйцо куриное — бриллиант.

И там на мешках, полных жемчужин,
Король с обезьянкой, с которой дружен,
Ложится часто спать; при этом
Они всегда храпят дуэтом.

Но всех сокровищ ему драгоценней,
Дороже всех радостей и наслаждений,
Предмет королевской гордости — он,
Махавасантов белый слон.

Для знатного гостя — король не скупец —
Построить велел он роскошный дворец.
Колонны венчает вьющийся лотос,
Слепительна кровли его позолота.

Триста драбантов у крыльца —
Почетный караул дворца.
К его услугам сто проворных
И раболепных евнухов черных.

Ему на золотом подносе
Тут, что ни запросит, под хобот носят.
Он пьет из серебряных ведер вино, —
Приправлено пряностями оно.

Розовым маслом его умащают,
Амбру курят и цветами венчают.
Королю для слона ничего не жаль.
Подстилка слону — кашемирская шаль,

Жилось ему счастливо, беспечно,
Но все на земле мы ропщем вечно.
И слон — неизвестно, почему, —
Впал в меланхолию, тошно ему.

И белый меланхолик тот —
При всем избытии — не ест, не пьет.
Пытались взбодрить его, пытались развлечь его
Но тщетны старанья ума человеческого.

Приводят к слону баядерок прекрасных, —
Он не веселеет от плясок их страстных.
И как музыканты ни лезли из кожи,
Не развлекли они его тоже.

Положенье слоновье все ухудшалось,
Все больше душа короля омрачалась,
И вот к себе зовет он строго
Искуснейшего астролога:

«Звездогляд! Будешь ты у меня обезглавлен,
Если не разгадаешь, чем слон мой подавлен.
Чего ему тут нехватает,
Что его душу так угнетает?»

И трижды бросившись наземь картинно,
Тот молвит глубокомысленно-чинно:
«Король! Возвещу тебе истину всю я, —
Не гневайся лишь, владыка, всеу!»

На Севере женщина есть одна —
Стройна и белотела она.
Твой слон прекрасен, в том нет сомненья,
Но с ней не выдержит сравненья.

В сравненьи с ней он кажется просто
Мышонком белым. Она — по росту —
Великанша Бима из «Рамаяны»,
Превыше даже эфесской Дианы!

Как сведены в этом здании массивы
Отдельных частей! Легко и красиво
Несут это чудо два гордых пилястра
Слепительно белого алебастра.

То — храм Амура колоссальный,
Собор любви это кафедральный!
И, как лампадка, там, в ковчеге,
Теплится сердце чистой неги.

Немало поэтов напрасно пыхтело
В погоне за образом белого тела.
На то и Готье неспособен пока был, —
О, белизна эта — implacable *!

И гималайский снег — со зла —
При ней сереет, как зола.
Возьмет она в руки лилию, — та
От ревности — по контрасту — желта.

Зовется она — графиня Бианка,
Высокая, белая северянка.
Живет в Париже она... Твой слон
В нее-то именно влюблен.

Сродством духовным к ней влекомый,
По сновиденью лишь с ней знакомый,
С тех пор лелеять в сердце стал
Он сей высокий идеал.

Его иссушил этой страсти пыл.
И он, кто так жизнерадостен был, —
Стал Вертером четвероногим, впал в бред он,
Той северной Лотте болезненно предан.

Таинственная симпатия!
Не знать ее — и желать ее!

* неумолима

Слон, под луной слоняясь, тяжело
Вздыхает часто: «О, будь я пташка!»

Он телом — в Сиаме, а мысли-беглянки
Летят к Бианке, в Париж, где франки.
А при разрыве души и плоти —
И горло сохнет, и в брюхе колотье.

Ему и вкуснейший бифштекс не желан,
Нужна лишь лапша ему да Оссиан.
Он кашлять стал, худеет, — в гроб
Такая тоска не свела его б!

Хочешь спасти его, чтоб твой кумир
Вернулся в свой млекопитающий мир, —
Так завтра же отправь его франко-
Париж, в столицу веселую франков!

Когда наяву он там встретится с той
Красавицей-дамой, своей мечтой,
Знакомой лишь по сновиденьям доньне,
С него, как рукою, снимет унынье.

Узрит он глаз ее сиянье,
И кончится его души страданье.
Такой улыбки ни у кого нет:
Последнюю тучку с души она сгонит.

А голос, такой же волшебный, как взгляд,
В его душе устранил разлад.
Подымет он тряпки ушей, как будто
Перерожденный в ту минуту...

Привольно в Париже и сладко — ах! —
Как сладко на сенских жить берегах!
Там слон твой станет цивилизован,
А уж от скуки — застрахован.

Но главное, о король, чтоб ни часа
Не пустовала слоновья касса:
Аккредитив можешь дать, например,
На Rue Lafitte *, банк Ротшильд-frères **,

Аккредитив на миллион
Хотя б дукатов. Monsieur барон
Фон-Ротшильд скажет о слоне:
«О, это — джентльмен вполне!..»

Так молвил астролог великий
И трижды припал к стопам владыки...
Щедро король наградил астролога,
А сам прилег поразмыслить немного.

Он думал так и сяк, — не шло:
Думать всем королям тяжело.
Лежит его обезьянка у пят,
И вот они вдвоем храпят.

А что порешил он, чем кончилась ночь та, —
Не знаю: застряла индийская почта.
Да и полученная блуждала, —
Шла через Суэц и весьма запоздала.

ШЕЛЬМ-ФОН-БЕРГЕН

Над Рейном в Дюссельдорфе бал
И маскарадные пляски.
Весь замок в огнях. Гремит оркестр,
И кружатся пестрые маски.

Красавица-герцогиня, смеясь,
Вальсирует с кавалером.

* улица Лафитт

** братья Ротшильды

Ее партнер — изящный франт,
Придворный по манерам.

Из черного бархата маска на нем,
И весел и чуть встревожен
Под маской взгляд, как острый кинжал,
Полуизвлеченный из ножен.

Ликует, глядя на них, карнавал,
Все ими гордиться вправе;
Дрик с Марцебиллой приветствуют их,
Прищелкивая, картавя.

А трубы медные ревут,
Гудит контрабас безумный.
Но танцы кончаются, и наконец
Умолк оркестр шумный.

«Прошу, ваша светлость, меня отпустить, —
Ждет меня дома дело!» —
«Нет, нет, — герцогиня хохочет, — я
Лицо твое видеть хотела...»

«Прошу, ваша светлость, меня отпустить, —
Я в ужас людей повергаю!» —
«Нет, нет, не боюсь я, — хохочет она, —
Снять маску тебе предлагаю!»

«Прошу, ваша светлость!.. Черным ночам
И смерти принадлежу я!» —
«Нет, нет, — герцогиня хохочет, — лицо,
Лицо твое видеть хочу я!»

Все мрачные доводы тщетны. Она
Ускорила развязку:
Сама с партнера своего
Насильно сорвала маску.

«Ах, бергенский это палач!» — И толпа
Шарахнулась и с перепуга
Вся замерла. А герцогиня без чувств
Упала в объятия супруга.

Но герцог — умен, и супруги честь
Он спас без размышлений:
Он, обнажив свой меч, сказал:
«Стань, молодец, на колени!

Твой герцог мечом ударяет тебя
И в рыцарство этим возводит.
Впредь Шельма-фон-Бергена имя носи:
Оно тебе, шельме, подходит!..»

Так сделался дворянином палач —
Всем Шельмам-фон-Бергенам предок.
Знатнейший род! На Рейне он цвел
И в склепах лежит напоследок.

ВАЛЬКИРИИ

Снизу — бой. А сверху — в бронях —
Мчатся на воздушных конях
Три валькирии. Звучит
Песня их, как щит о щит:

«У монархов спор — народы
Из-за них воюют годы.
Власть — их добродетель, страсть,
Благо, цель их жизни — власть.

Гей! От смерти не ищи ты
Под кольчугою защиты!
Гибнет лучший из людей,
Верх всегда берет злодей.

В лаврах, в арках — вся дорога!
Он придет надменно-строго.
Тот, кто лучших мог попрасть,
Может страны покорять.

Он сенаторами встречен,
Бургомистром он привечен,
Он ключи у них берет, —
И кортеж идет вперед.

Ней! Салютом пушек с вала,
Трубным ревом все взорвало,
Колокольных звонов гром,
Чернь «виват» кричит кругом.

Дамы, на балконах стоя,
Устилают путь героя
Розами. Проходит он, —
Сдержан, горд его поклон».

ПОЛЕ БИТВЫ ПРИ ГАСТИНГСЕ

Аббат Вальдгема тяжело
Вздыхнул, смущенный вестью,
Что саксов вождь, король Гарольд,
При Гастингсе пал с честью.

И двух монахов послал аббат, —
Их Асгот и Айльрик звали, —
Чтоб тотчас на Гастингс шли они
И прах короля отыскиали.

Монахи пустились печально в путь,
Печально домой воротились:
«Отец преподобный, постыла нам жизнь —
Со счастьем мы простились,

Из саксов лучший пал в бою,
И Банкерт смеется, негодный;
Отребье норманское делит страну,
В раба обратился свободный.

И стали лордами у нас
Норманны — вшивые воры.
Я видел, портной из Байе гарцовал,
Надев золоченые шпоры.

О, горе нам и тем святым,
Что в небе наша опора!
Пускай трепещут и они,
Ведь им не уйти от позора.

Теперь открылось нам, зачем
В ночи комета большая
По небу мчалась на красной метле,
Кровавым светом сияя.

То, что пророчила звезда,
В сражении мы узнали.
Где ты велел, там были мы
И прах короля искали.

И долго там бродили мы,
Жестоким горем томимы,
И все надежды оставили нас,
И короля не нашли мы».

Асгот и Айльрик окончили речь.
Аббат сжал руки, рыдая,
Потом задумался глубоко
И молвил им, вздыхая:

«У Гринфильда Скалу Певцов
Лес окружил, синей;
Там в ветхой хижине живет
Эдит Лебяжья Шея.

Лебязьей Шеей звалась она
За то, что клонила шею
Всегда, как лебедь; король Гарольд
За то пленился ею.

Ее он любил, лелеял, ласкал,
Потом забыл, покинул.
И время шло; шестнадцатый год
Теперь тому уже минул.

Отправьтесь, братья, к женщине той,
Пускай идет она с вами
Назад на Гастингс — и женский взор
Найдет короля меж телами.

Затем в обратный пускайтесь путь.
Мы прах в аббатстве скроем, —
За душу Гарольда помолимся все
И с честью тело зароем».

И в полночь хижина в лесу
Предстала пред их глазами.
«Эдит Лебязья Шея, встань
И тотчас следуй за нами.

Норманский герцог победил,
Рабами стали бритты,
На поле гастингском лежит
Король Гарольд убитый.

Ступай на Гастингс, найди его, —
Исполни наше дело, —
Его в аббатство мы снесем,
Аббат похоронит тело».

И молча поднялась Эдит
И молча пошла за ними.
Неистовый ветер ночной играл
Ее волосами седыми.

Сквозь чащу леса, по мху болот
Ступала ногами босыми.
И Гастингса меловой утес
Наутро встал перед ними.

Растаял в утренних лучах
Покров тумана белый,
И мерзким карканьем воронье
Над бранным полем взлетело.

Там, на поле, тела бойцов
Кровавую землю устлали,
А рядом с ними, в крови и пыли,
Убитые кони лежали.

Эдит Лебязья Шея в кровь
Ступала босою ногою,
И взгляды пристальных глаз ее
Летели острой стрелою.

И долго бродила среди бойцов
Эдит Лебязья Шея,
И, отгоняя воронье,
Монахи брели за нею.

Так целый день бродили они,
И вечер приближался,
Как вдруг в вечерней тишине
Ужасный крик раздался.

Эдит Лебязья Шея нашла
Того, кого искала.
Склонясь, без слов и без слез она
К его лицу припала.

Она целовала бледный лоб,
Уста с запекшейся кровью,
К раскрытым ранам на груди
Склонялася с любовью.

К трем малым рубцам на плече его
Она прикоснулась губами, —
Любовной памятью были они,
Прошедшей страсти следами.

Монахи носилки сплели из ветвей.
Тихонько шепча молитвы,
И прочь понесли своего короля
С ужасного поля битвы.

Они к Вальдгему его несли.
Спускалась ночь чернея.
И шла за гробом своей любви
Эдит Лебязья Шея.

Молитвы о мертвых пела она,
И жутко разносились
Зловещие звуки в глухой ночи.
Монахи тихо молились.

КАРЛ I

Угрюмый, сидит король в лесу,
В избе дровосека дальней,
Качает чужого ребенка он,
Качает, поет печально:

«Спи, мальчик! Кто там в соломе шуршит?
Овечки заблеяли где-то.
Недобрый знак на лбу твоём,
И страшно смеешься во сне ты.

Спи, мальчик милый! Кота уже нет,
Ты мечен пророческим знаком,
Вот подрастешь, возьмешь топор;
Деревья охвачены страхом.

Romanzero

von

Heinrich Heine.

Hamburg.

Hoffmann und Campe.

1851.

Титульный лист первого издания
«Романцero» 1851 г.

Уж прежней веры в народе нет,
Не верят простые дети —
Спи, мальчик! — ни в бога, ни в короля
И ни во что на свете.

Кота уже нет. Раздолье мышам.
Насмешкой для черни сонной
Мы стали — спи, мальчик! — на небе бог,
Здесь я, король ваш законный.

Мой дух угас, на сердце боль,
И жизнь подходит к краю.
Спи, сын дровосека, будешь ты
Моим палачом, — я знаю.

В твоей колыбельной я смерть чою.
Спи, мальчик мой! Не жалея,
Седые ты волосы срежешь мне,
Топор приподнят над шеей.

Спи, мальчик! Кто там в соломе шуршит?
Наследник леса и пашен,
Ты голову мне снесешь долой,
А мертвый кот не страшен.

Спи, мальчик! Кто там в соломе шуршит?
То овцы блеют спросонок.
Кота уже нет, раздолье мышам.
Спи крепко, мой палачонок!»

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА

С зеркальных окон дворца Тюильри
Блеск веселый не сходит.
Однако там средь бела дня
Забутые призраки бродят.

Является в Pavillon de Flor *
 Мария-Антуанетта;
 Свершает по утрам lever **
 По правилам этикета.

Придворные дамы. Одни — стоят,
 Сидят по чину — иные.
 Атлас, парча, бриллианты на них
 И воротники кружевные.

Их тали — узки, их фижмы — пышны
 И на каблучках — плутовки —
 Их настороженные ножки торчат...
 Ах, если б им головки!

Все безголовы! У самой
 Ее величества — та же
 Нехватка, — посему она
 И не завита даже.

Она, свой башнеподобный тупей ***
 Носившая так величаво,
 Марии-Терезии дочь, на ком —
 Германских кесарей слава;

Она — без прически, без головы,
 В ужасном виде, словом,
 К нечесаным дамам являться должна,
 К таким же безголовым.

Вот революции плоды!
 Проклятая доктрина!
 Во всем виноваты Жан-Жак Руссо,
 Вольтер и гильотина!

* Павильон Флоры.

** Торжественная церемония утреннего туалета французских королей и королев.

*** Старинная прическа.

Но странно! Судя по всему,
Бедняжки-то сами вовсе
Не замечают, что они
Мертвы, что они без голов все.

В их церемониях — тот же вздор,
Все те же его нюансы;
Смешны и жутки вместе с тем
Безглавые реверансы.

Несет с приседаньями *dame d'atour* *
Сорочку монаршей особе;
Другая — ее королеве дает,
И приседают обе.

Третья, четвертая дама пред ней
Склоняют колени дружно, —
Ее величеству чулки
Натягивать им нужно.

Ей с реверансами кофту несет
Фрейлина молодая;
Несет вторая юбку ей,
Все так же приседая.

Стоит, обвевая белую грудь,
Гофмейстерина рядом,
И, за отсутствием головы,
Она улыбается задом.

Сквозь шторы солнце бросает сюда
Порой любопытные взоры,
Но старые тени пугают его, —
Взглянет — и прочь от шторы.

* Придворная дама, на обязанности которой лежало прислуживать королеве при ее туалете.

ПОМА́РЕ

1

У меня ликует в сердце
Бог любви, и на фанфаре
Возвещает он: «Привет
Государыне Помаре!»

Не про ту — не с Отаити,
Разных миссий ученицу,
Про другую говорю —
Про дикарку и царицу.

Дважды каждую неделю
Свой народ она чарует,
Польку там, в Саду Мабиль,
И канкан она танцует.

В каждом жесте, в каждой позе
С бедр до икор — королева;
Вся — величье и краса,
Необузданная дева.

Пляшет, а во мне ликует
Бог любви, и на фанфаре
Возвещает он: «Привет
Государыне Помаре!»

2

Она танцует. Гибкий стан
Волненьем страстным обуян!
И вот вспорхнула, полетела —
И рвется вслед душа из тела.

Танцует, вьется, как стрела;
Но вдруг застыла, замерла,
Призывно вытянула руки.
Спаси, о боже, меня от муки!

Танцует. Так была должна
Плясать пред Иродом она —
Дщерь молодая Иродиады.
Как молнии, смертоносны взгляды...

Сведет с ума меня она...
Скажи: чего тебе, жена?
Смеешься?.. Слуги, сюда, живее!
Казнить пророка в Иудее!

3

За кусок вчера она
Грязь месить была должна;
А сегодня пред толпою
Гордо мчится четвернею

И к подушке шелковой
Чернокудрой головой
Прислонилась, созерцая,
Как бежит толпа густая.

Эта роскошь, этот вид
Сёрдце мне в тисках щемит:
Ах, ты с этой колесницы
Ступишь прямо в дверь больницы!

Встретит смерть тебя косою
И покончит всё с тобой,
И прозектор безобразный
На больничной лавке грязной

Неуклюжею рукой
Вскроет труп изящный твой.
Эти кони тоже скоро
Будут в лапах живодера.

4

Но не то судьба сулила
И не так гневна была;
Слава богу, ты почила,
Слава богу, умерла.

Ты в мансарде опочила
Бедной матери своей,
И она тебе закрыла
Звезды гаснувших очей.

Пелену тебе купили,
Гроб, могилку у стены.
Правда, похороны были
Как-то жалки и бедны:

Не с свечами гробовыми
Духовенства стройный хор, —
За носилками твоими
Шли твой пес и куафёр.

«Ах, как часто я Помаре, —
Парикмахер прошептал, —
Неодетой, в будуаре,
Косу черную чесал!»

Пес доплелся до кладбища
И вернулся от ворот
К Rose-Romron, у ней он пищу
И приют себе найдет, —

Rose-Romron, что так хулила
Королевский титул твой
И тебя всегда язвила
Самой низкой клеветой.

Оргий бедная царица!
И в грязи тебя спасла
Милосердная десница
Господа, — ты умерла.

И дана тебе награда
Этой вышней доброты
Оттого, — так думать надо, —
Что любила много ты.

БОГ АПОЛЛОН

I

Стоит монастырь на крутизне,
Рейн — катит воды мимо.
Вверху, в решетчатом окне —
Монашка, тоской томима.

Зарей вечерней освещен
Кораблик, словно в сказке;
Он пестрым шелком оснащен,
И лавр и цветы на оснастке.

В нем — светлокудрый щеголь. Стан
И облик весь — героя.
А плащ пурпурный — золототкан,
Античного покроя.

С ним девять женщин. Все тонки,
Прекрасны, как скульптуры;
Охватывают туники
Их стройные фигуры.

А он поет. Персты бегут
По лире звонкострунной.
И эти звуки сердце жгут.
Той инокине юной.

И крест она святой творит,
И снова крест — монашка.
Он пытки сладкой не смирит
И радости горькой, бедняжка!

II

«Я — Аполлон, бог музыки,
На всей земле прославлен.
Мне на Парнасе, в Греции,
Был пышный храм поставлен.

На Монпарнасе, в Греции,
Я жил, где живописный
Кастальский ключ звенел в те дни
Под сенью кипарисной.

А музы — дочери мои —
Вокализировали, —
Не молкло там: ля-ли, ля-ли!
Шутили, танцевали.

Но из лесу — тра-ри, тра-ри!
То Артемида мчится
И в рог трубит, — все дни свои
Охотится сестрица.

Не знаю как, но лишь струи
Кастальских вод устами
Касался я, — уста мои
Уже звучали сами.

Я пел, а лира струнами
Сама звенела, вторя,
И словно между лаврами
Внимала Дафна в горе.

Я пел. И дух амброзии
Распространяла лира,
Потоки славы потекли
Во все просторы мира.

Но изгнанный из Греции,
Я всюду на чужбине.

А сердце... сердце в Греции
Живет еще и ныне».

III

В одеяние бегинок,
В плащ с глубоким капюшоном
Из грубейшей черной саржи
Инокиня облачилась.

Торопясь, она вдоль Рейна,
Прямо по большому тракту
На Голландию — шагает,
Жадно спрашивая встречных:

«Не видали Аполлона?..
Красный плащ на нем, чудесно
Он поет, бренча на лире,
Он — кумир мой ненаглядный!»

Нет охотников ответить.
Кто спиною повернется,
Кто, смеясь, глаза таращит,
Кто вздыхает: «Ах, бедняжка!»

Тут — обшарпанный — навстречу
Приближается старик:
Пальцем в воздухе считает,
Напевая что-то в нос.

На спине котомку тащит,
Треугольная шапчонка,
Глазки хитрые. С ухмылкой
Он монахине внимает:

«Не видали Аполлона?
Красный плащ на нем, чудесно
Он поет, бренча на лире,
Он — кумир мой ненаглядный!»

И старик ей отвечает,
Головой вертя при этом
Так и смяк, и презабавно
Щиплет острую бородку:

«Или я его не видел?
Пес... видал! И очень часто!
В Амстердаме он у нас
Пел в немецкой синагоге.

Был он кантором, ребб-Файбиш
Звался. По-верхненемецки —
Файбиш будет Аполлоном...
Для меня он не кумир.

Красный плащ? И этот красный
Знаю плащ. Богатый бархат, —
По восьми флоринов локоть!
Долг не выплачен пока.

И отец его отлично
Мне известен — Мозес Итчер:
Обрезатель крайней плоти,
И червонцы обрезает.

Мать его — она кузина
Зятю моему. Торгует
Квашеными огурцами,
Старыми штанами тоже.

Нет им радостей от сына:
Мастер он играть на лире,
Но гораздо больше любит
Он играть в тарок и в ломбер.

Ко всему — и вольнодумец:
Жрет свинину! Потерял
Должность и кочует с труппой
Крашенных комедиантов,

В ярмарочных балаганах
Пикельгеринга играет,
Олоферна, царь Давида, —
Это вот его конек!

Ведь царя Давида песни
Пел он на родном, на древнем
Языке Давида, трели
Выводя на лад старинный.

Шлюх в притонах амстердамских
Он на вербовал, и с ними,
С музами своими, — стал он
Разъезжать за Аполлона.

Среди них — одна толстушка:
Хрюкает, визжит — на редкость!
В шляпе лавр, — Свиньей Зеленой
Прозвана она за то».

МАЛЕНЬКИЙ НАРОДЕЦ.

В ночном горшке, как жених, расфранченный,
По Рейну вниз он держал свой путь.
И в Роттердаме красотке смущенной
Сказал он: «Моею женою будь!

Войду с тобой, моей подружкой,
В свой замок, в брачный наш альков.
Там убраны стены свежей стружкой,
И мелкой сечкой выложен кров.

На бонбоньерку жилище похоже:
Царицей ты заживешь у меня!
Скорлупка ореха — вот наше ложе,
А паутина — простыня.

Что день — муравьиные яйца в масле
С червяковым гарниром мы будем есть.
А моя матушка не оставит для нас ли
«Душка монашьего» штукек шесть?

Сальце есть, шкварок пара горсток,
Головка репы в огороде моем,
Есть и вина непочатый наперсток...
Мы будем счастливы вдвоем!

Вот вышло сватанье на диво!
Невеста ахала: «Не быть бы греху!»
Смертельно было ей тоскливо...
И все же — прыг в горшок к жениху.

* * *

Крещеные люди ль, просто мыши ль
Мои герои? — сказать не берусь.
Я сам в Бефферланде об этом услышал
Лет тридцать назад, коль не ошибусь.

ДВА РЫЦАРЯ

Сволочинский и Помойский —
Кто средь шляхты им чета? —
Бились храбро за свободу
Против русского кнута.

Храбро бились и в Париже
Обрели и кров и снедь;
Столь же сладко для отчизны
Уцелеть, как умереть.

Как Патрокл с своим Ахиллом,
Как с Давидом Ионафан,
Оба вечно целовались,
Бормоча «кохан, кохан»,

Жили в дружбе; не желали
Никогда друг другу зла,
Хоть у них обоих в жилах
Кровь шляхетская текла.

Слившись душами всецело,
Спали на одной постели;
Часто взапуски чесались:
Те же вши обоих ели.

В том же кабаке питались,
Но боялся каждый, чтобы
Счет другим оплачен не был, —
Так и не платили оба.

И белье одна и та же
Генриетта им стирает;
В месяц раз придет с улыбкой
И белье их забирает.

Да, у каждого сорочек
Пара целая была,
Хоть у них обоих в жилах
Кровь шляхетская текла.

Вот сидят они сегодня
И глядят в камин горящий;
За окном — потемки, вьюга,
Стук пролеток дребезжащий.

Кубком пунша пребольшим
(Не разбавленным водицей,
Не подслащенным) они
Уж успели подкрепиться.

И взгрустнулось им обоим,
Потускнел их бравый вид.
И растроганно сквозь слезы
Сволочинский говорит:

«Ничего бы здесь в Париже,
Но тоскую я всё больше
По шлафроку и по шубе,
Что, увы, остались в Польше».

И в ответ ему Помойский:
«Друг мой, шляхтич ты примерный;
К милой родине и к шубе
Ты горишь любовью верной.

Еще Польшка не згинела;
Всё рожают жены наши,
Тем же заняты и девы:
Можем ждать героев краше,

Чем великий Ян Собесский,
Чем Шельмовский и Уминский,
Шантажевич, Попрошайский
И преславный пан Ослинский».

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

Скрипки, систры, бубнов лязги.
Дщери Иаковлевы в пляске —
Вкруг золотого истукана,
Вкруг тельца ликуют. Срам!
Трам-трам-трам!..
Клики, хохот, звон тимпана.

И хитоны, как блудницы,
Подоткнув до поясницы, —
С быстротою урагана,
Пляшут девы — нет конца —
Вкруг тельца...
Клики, хохот, звон тимпана.

Аарон, сам жрец верховный,
Пляской увлечен греховой:
Несмотря на важность сана,

В ризах даже — в пляс пошел,
Как козел...
Клики, хохот, звон тимпана.

ЦАРЬ ДАВИД

Угасает мирно царь,
Ибо знает: впредь, как встарь,
Самовластье на престоле
Будет чернь держать в неволе.

Раб, как лошадь или бык,
К вечной упряжи привык,
И сломает шею мигом
Не смирившийся под игом.

Соломону царь Давид,
Умирая, говорит:
«Кстати, вспомни, для начала,
Иоава, генерала.

Этот храбрый генерал
Много лет мне докучал,
Но ни разу злого гада
Не пощупал я, как надо.

Ты, мой милый сын, умен,
Веришь в бога и силен,
И твое святое право
Уничтожить Иоава».

КОРОЛЬ РИЧАРД

Сквозь глушь лесную во весь опор
Веселый всадник несется.
Он трубит в рог, сверкает взор,
Поет он и смеется.

Он в медную броню одет,
Но дух его крепче меди.
То — Ричард Львиное Сердце, цвет
Христова рыцарства, едет!

Зелеными языками ему
Деревья кричат: «Поздравляем!
В австрийскую ты заточен был тюрьму,
Но вырвался. Счастья желаем!»

Король свежим воздухом упоен,
Он скачет сквозь доли и горы.
Но, вспомнив австрийскую крепость, — он
В коня вонзает шпоры.

АЗРА

Каждый день, как сон, прекрасна,
Дочь султана проходила
В час вечерний у фонтана,
Где вода белеясь била.

Каждый день невольник юный
В час вечерний у фонтана,
Где вода белеясь била,
Ждал, день ото дня бледнее.

Раз один ему царевна
Быстро вымолвила, глянув:
«Знать хочу твое я имя,
Место родины и род твой».

И невольник молвил: «Имя —
Магомет; отчизна — Йемен;
Род мой — Азры, для которых
Неразлучна смерть с любовью».

ХРИСТОВЫ НЕВЕСТЫ

Монастырских окон ряд —
Что ни полночь — освещенье
Заливает: с крестным ходом
Выступают привиденья.

В мрачном шествии бредут
Тени юных урсулинок,
Нахлобучив капюшоны
Иноческих пелеринок.

Свечи в их руках дрожат,
И зловеще их мерцанье.
Эхо жутко повторяет
Всхлипыванья и стенанья.

В церковь крестный ход вошел,
Тени поднялись на хоры,
Со скамей дубовых к небу
Устремили скорбно взоры.

Свят напев литийно-чинный,
Но в словах — безумство блуда:
Души бедные! Стучатся
В двери райские отсюда!

«Все — невесты мы Христа,
Но, к земной прильнув отраве,
Кесарю мы отдавали
То, чем бог владеть был вправе.

Обольстительны усы
Да мундиры на корнетах;
Но соблазну много больше
В кесаревых эполетах!

Мы наставили рога
На чело в венце из терна,

Мы обманывали бога
Так безбожно, так позорно!»

И восплакал Иисус
О греховном человеке,
И сказал он, благ и кроток:
«Будьте прокляты навеки!..»

«Ночь нас гонит из могил,
И, рыдая о потере,
Покаянья мы приносим...
Miserere! Miserere! *

Хорошо в гробу, но гроб
Не сравним ни в малой мере
С теплым царствием небесным...
Miserere! Miserere!

О сладчайший Иисус!
Смилуйся, открой нам двери
В теплое, святое небо!
Miserere! Miserere!»

Так монахини поют.
У органа — мертвый кистер:
Как безумный, он штурмует
За регистром регистер.

ПФАЛЬЦГРАФИНЯ ЮТТА

Графиня по Рейну едет... Луна...
Скользит челнок... Журчит волна...
Служанка гребет. Графиня — к ней:
«Ты видишь семь трупов? Греби сильней!
Семь трупов за нами
Несет волнами!
Как печально плывут мертвецы!

* Помилуй!

Семь юных рыцарей, полных огня, —
Как нежно они на груди у меня
Клялись мне в верности! Но чтобы той
Им не нарушить клятвы святой, —
По моему приказу
Топили их сразу.
Как печально плывут мертвецы!»

Служанка гребет. Ей уже невмочь.
Графиня хохочет, тревожа ночь.
И, пальцы высунув, будто бы вновь
Они присягают ей на любовь, —
Со стеклянным взглядом,
С ладьею рядом —
Как печально плывут мертвецы!

МАВРИТАНСКИЙ КОРОЛЬ

Ехал в ссылку — в Альпухару —
Молодой владыка мавров,
Караван свой возглавляя,
Молчалив, подавлен скорбью.

С ним — на статных иноходцах,
На носилках золоченых —
Женщины его семейства,
А рабыни их — на мулах;

Сотня верных слуг — на гордых
Вороних конях арабских...
Но понуро, вяло как-то
Всадники качались в седлах.

Ни цимбал, и ни литавров,
И ни песен. Лишь на мулах
Серебром звенят в тиши
Колокольчики уныло.

На горé, откуда взору
Вся Дуэрская долина
И зубчатая Гренада
Предстают в последний раз, —

Там король с коня слезает
И глядит на милый город,
Что сияет на закате
Зблотом и багрецом.

Но, аллах! Что за картина!
Где любимый полумесяц?
На Альхамбре — крест испанский
Да испанские знамена!

Ах! Из королевской груди
Вздохи вырвались, и слезы
По его щекам внезапно
Покатились водопадом.

Мрачно смотрит с иноходца
Королева-мать на сына,
Смотрит и его сурово
Горькими корит словами:

«Плакать, Боабдиль-эль-Чико,
Ты, как женщина, умеешь.
Только город, как мужчина,
Отстоять ты не сумел!»

Тут — одна из всех наложниц,
Что была любимей прочих,
Соскочив с носилок, — нежно
Бросилась на грудь владыки:

«Боабдиль-эль-Чико, милый! —
Говорит она, — утешься:
В бездне твоего несчастья
Расцветет прекрасный лавр!

Нет, не только триумфатор,
Нет, не только лишь венчанный
Фаворит слепой богини, —
Но и кровный сын несчастья,

И боец, геройски павший
В схватке с грозною судьбою,
Да, и он бессмертен будет
У людей в воспоминаньях!..»

«Вздых последний Боабдила» —
Так зовется до сих пор
Та гора, с которой видел
Он в последний раз Гренаду.

И наложницы любимой
Оправдалось предсказанье:
Да, король тот мавританский
Славной памятью прославлен.

Не заглохнет эта слава,
Разве только — до последней
Лопнут струны на последней
Из гитар андалузийских!

ЖОФРУА РУДЕЛЬ
И МЕЛИСАНДА ТРИПОЛИС

В замке Бле висят обои
По стенам большого зала;
Их графиня Триполис
Все своей рукою ткала.

Эти тканые картины
Все слезами оросила,
Душу выткала всю в них.
И представлено там было,

Как Руделя на побережье
Мелисанда увидала —
Идеал своих мечтаний
В умирающем узнала.

И Рудель теперь впервые
И в последний раз встречался
С той, которой в сновиденьях
Он так часто восхищался.

Наклонясь над ним, графиня
Так любовно целовала
Те уста, с которых песня
В похвалу ее слетала.

Поцелуй их первой встречи
Поцелуем был разлуки —
Они выпили до дна
Чашу радостей и муки.

Каждой ночью странный шорох
Слышен в замковых покоях:
То внезапно оживают
Две фигуры на обоях.

Трубадур и дама тихо
Тени-члены расправляют,
Выступая из стены,
И по комнатам гуляют.

Слышен тихий страстный попот,
Томно-сладостные вздохи —
Замогильный нежный отзвук
Миннезингерской эпохи.

«Жофруа! Твой голос сердце
Мне так сладко согревает,
И в давно потухшем пепле
Пламя, слышу я, пылает». —

«Мелисанда! Взор твой — счастье
И цветок роскошный мая...
Вновь живу я, а в могиле —
Только скорбь моя земная». —

«Жофруа! Лишь в сновиденье
Знали мы любовь покуда,
А теперь узнали в смерти, —
Тут Амура-бога чудо!» —

«Мелисанда! Что есть сон?
Что есть смерть? Пустые звуки!
Правда есть в одной любви;
В ней всё счастье, в ней все муки!» —

«Жофруа! При лунном свете
Здесь так тихо, так покойно...
Что нам в солнце, что нам в дне,
Где и шумно так, и знойно!» —

«Мелисанда! Ты сама мне
Свет и солнце, дорогая!
Где идешь ты — там весна,
И любовь, и радость мая...»

Так болтая, долго бродит
Трубадур с своею дамой,
А луна глядит на них
Сквозь окно с узорной рамой.

Но заря лучом пурпурным
Привиденья прогоняет,
И назад, в стенной ковер,
Тени робко ускользают...

ПОЭТ ФЕРДАУСИ

I

Есть серебряные люди,
Есть и золотые люди.
Нищий, говоря про томан,
Речь ведет о серебре.

Но в устах владыки-шаха
Томан — только золотой,
Шах дарит и принимает
Только золотые деньги.

Так считают все на свете,
Так считал и сам Фердауси,
Сочинитель знаменитой,
Многославной «Шах-Наме».

Он по воле шаха создал
Песнь о доблестных героях,
Шах за каждый стих поэту
Посулил в награду томан.

Расцвело шестнадцать весен,
Отцвело шестнадцать весен,
Соловей прославил розу
И умолк шестнадцать раз.

А поэт сидел прилежно
У станка крылатой мысли,
День и ночь, трудясь прилежно,
Ткал ковер узорных песен.

Ткал поэт ковер огромный
И влетал туда чудесно
Все легенды Фарсисстана,
Славу древних властелинов,

Своего народа славу,
Древних витязей деянья,

Волшебство и злые чары
В раме сказочных цветов.

Всё цвело, дышало, пело,
Пламенело, трепетало, —
Там сиял, как свет небес,
Первозданный свет Ирана,

Дивный, вечный свет, не меркший,
Вопреки Корану, муфти
В храме огненного духа —
В сердце пламенном поэта.

Завершив свое творенье,
Переслал поэт владыке
Двести тысяч строк стихов,
Манускрипт великой песни.

Это было в банях Гасны,
В древних банях знойной Гасны, —
Там Фердауси разыскали
Черные посланцы шаха;

Каждый нес мешок с деньгами
И слагал к ногам поэта,
На колени став, высокий,
Щедрый дар за долгий труд,

И поэт нетерпеливо
Вскрыл мешки, чтоб насладиться
Видом золота желанным, —
И отпрянул, потрясенный:

Перед ним бесцветной грудой
Серебро в мешках лежало —
Двести тысяч, и поэт
Засмеялся горьким смехом.

С горьким смехом разделил он
Деньги на три равных части.

Две из них посланцам черным
Он, в награду за усердье,

Раздал — поровну обоим;
Третью часть Фердауси тут же
Бросил банщику в оплату
За его услуги в бане.

Взял он страннический посох
И, столичный град покинув,
За воротами, с презреньем,
Отряхнул с сандалий прах.

II

«Будь он лживый человек,
Вроде торгаша любого,
Не сдержи он только слова —
Я не гневался б вовек.

Но постыден хитрый план:
Дать коварно обещанье,
А потом хранить молчанье,
Тем свершив двойной обман.

Был он статен и высок,
Горд и благороден ликом,
Не в пример другим владыкам —
Царь от головы до ног.

Мне, как солнце над Ираном,
Огненный метнул он взор;
Светоч правды — о позор! —
Он прельстил меня обманом».

III

Шах Магомет, окончив пир,
Вкушает сердцем сладкий мир.

В саду у фонтана, под сенью маслин,
На алых подушках сидит властелин.

В толпе прислужников смиренной —
Анзари, любимец его неизменный;

В мраморных вазах, струя аромат,
Буйно цветущие розы горят.

Стройны, как гурии, устало
Колышут пальмы свои опахала.

Спят кипарисы полуденным сном,
Грезя о небе, забыв о земном.

Но вдруг, чарующей тайны полны,
Слова зазвучали под пенью струны.

Владыка вздрогнул, — поражен.
«Чья это песня?» — молвил он.

«Ту песню, — ответил Анзари без страха, —
Сложил Ферд́ауси по воле шаха».

«Ферд́ауси! — владыка смущен был отве-
том. —
Но где он? Что стало с великим поэтом?»

Анзари молвил: «Уж много лет
Безмерно бедствует поэт, —

Вернувшись в Тус, в отцовский дом,
Он сад возделал с тяжким трудом».

Шах Магомет помолчал в размышленье
И молвил: «Анзари, тебе повеленье.

Возьми в моем стаде сотню мулов,
Отборных верблюдов полсотни голов,

На них нагрузи драгоценностей гору,
Усладу — сердцу, отраду — взору:

Заморских диковин, лазурь, изумруды,
Резные эбеновые сосуды,

Фаянс, оправленный кругом
Тяжелым золотом и серебром;

Слоновую кость, кувшины и кубки,
Тигровы шкуры, трости, трубки,

Ковры и шали, парчевые ткани,
Изготавливаемые в Иране.

Не позабудь вложить в тюки
Оружье, брони и чепраки

Да самой лучшей снеди в избытке:
Всех видов яства и напитки,

Конфеты, миндальные торты, варенья,
Разные пироги, соленья.

Прибавь двенадцать арабских коней,
Что стрел оперенных и ветра быстрей,

Двенадцать невольников чернотелых,
Крепких, как бронза, в работе умелых, —

Анзари, сей драгоценный груз
Тобой доставлен будет в Тус

И весь, включая мой поклон,
Великому Фердауси вручен».

Анзари исполнил повеленья, —
Навьючил верблюдов без промедленья,

Была несметных подарков цена
Доходу с обширных владений равна;

И, град покинув с кладью оной,
Анзари, собственной персоной,

Поднял флажок и в глубь Ирана
Двинулся во главе каравана.

Туса достигли с девятой зарей.
Город раскинут был под горой.

С шумом и гамом, под барабан,
С запада в город вошел караван.

Сквозь вой рогов и трубный гром
Песня триумфа звучала кругом.

Полною глоткой: «Ля-иль-ля! Иль-алла!»
Верблюды ревели, толпа ликовала.

А в тот же час из восточных ворот
Шел в погребальных одеждах народ:

К могильным камням, белевшим вдали,
Фердауси мертвого несли.

НОЧНАЯ ПОЕЗДКА

Вздымалась волна. Полумесяц из туч
Мерцал так робко нам.
Когда садились мы в челнок,
Нас трое было там.

Доучливо весла плескались в воде,
Скрипели по бортам.
И с шумом волна белопенная нас
Троих заливала там.

Она, бледна, стройна, в челне
Стояла, предавшись мечтам.

Дианою мраморною тогда
Она казалась нам.

А месяц и вовсе исчез. Свистел
Ветер, хлеща по глазам.
Над нами раздался пронзительный крик
И взмыл высоко к небесам.

То призрачно-белая чайка была;
Тот вопль ужасный нам
Сулил беду. И всем троим
Так жутко стало там.

Быть может, я болен, и это — бред?
Понять не могу я сам.
Быть может, я сплю? Но где же конец
Чудовищным этим снам?

Чудовищный бред! Пригрезилось мне,
Что я — Спаситель сам,
Что я безропотно крест влачу
По каменистым стезям.

Ты, бедная, угнетена, Красота,
Тебе я спасение дам —
От боли, позора, пороков, нужды,
Всесветных зловонных ям.

Ты, бедная Красота, крепись:
Лекарство я горькое дам,
Я сам поднесу тебе смерть, и пусть
Сердце мое — пополам!

Безумный бред! Кошмарный сон!
Проклятье этим мечтам!
Зияет ночь, ревет волна...
Укрепи, дай твердость рукам,

Укрепи меня, боже милосердный мой!
Шаддай милосердный сам!
Что-то в море упало! Шаддай! Адонай!
Вели смириться волнам!..

И солнце взошло... Земля! Весна!
И края не видно цветам!
Когда на берег мы сошли,
Нас было лишь *двое* там.

ФИЦЛИПУЦЛИ

(Прелюдия)

Вот она — Америка!
Вот он — юный Новый свет!
Не новейший, что теперь,
Европеизован, вянет, —

Преде мною Новый свет,
Тот, каким из океана
Был он извлечен Колумбом:
Дышит свежестью морскою,

В жемчугах воды трепещет,
Яркой радугой сверкая
Под лобзаниями солнца...
О, как этот мир здоров!

Не романтики кладбища
И не груды черепков,
Символов, поросших мохом,
Париков окаменелых.

На здоровой почве крепнут
И здоровые деревья —
Им неведомы ни сплин
Ни в спинном мозгу сухотка.

На ветвях сидят качаясь
Птицы крупные. Как ярко
Оперенье их! Уставив
Клювы длинные в пространство,

Молча смотрят на пришельца
Черными, в очках, глазами,
Вскрикнув вдруг — и все болтают,
Словно кумушки за кофе.

Но невнятен мне их говор,
Хоть и знаю птиц наречья,
Как премудрый Соломон,
Тысячу супруг имевший

И наречья птичьи знавший, —
Не новейшие одни,
Но и древние, седые
Диалекты старых чучел.

Новые цветы повсюду!
С новым, диким ароматом,
С небывалым ароматом,
Что мне проникает в ноздри

Пряно, остро и дразняще, —
И мучительно хочу я
Вспомнить наконец: да где же
Слышал я подобный запах?

Было ль то на Риджент-стрит
В смуглых солнечных объятьях
Стройной девушки-яванки,
Что всегда цветы жевала?

В Роттердаме ль, может быть,
Там, где памятник Эразму,

В белой вафельной палатке
За таинственной гардиной?

Созерцая Новый свет,
Вижу я: моя особа,
Кажется, ему внушает
Большой ужас... Обезьяна,

Что спешит в кустах укрыться,
Крестится, меня завидя,
И кричит в испуге: «Тень!
Света Старого жилец!»

Обезьяна! Не страшись:
Я не призрак и не тень;
Жизнь в моих клокочет жилах,
Жизни я вернейший сын.

Но общался с мертвецами
Много лет я — оттого
И усвоил их манеры
И особые причуды.

Годы лучшие провел я
То в Кифгейзере, то в гроте
У Венеры — словом, в разных
Катакомбах романтизма.

Не пугайся, обезьяна!
На заду твоём бесперстом,
Голом, как седло, пестреют
Те цвета, что мной любимы:

Черно-красно-золотистый!
Обезьяний зад трехцветный
Живо мне напоминает
Стяг имперский Барбароссы.

I

Был он лаврами увенчан,
И сверкали на ботфортах
Шпоры золотые — всё же
Не герой он был, не рыцарь,

А главарь разбойной шайки,
Но вписавший в Книгу Славы
Дерзкой собственной рукой
Дерзостное имя: Кортес.

Вслед за именем Колумба
Расписался он сейчас же,
И зубрят мальчишки в школах
Имена обоих кряду.

Христофор Колумб — один,
А другой — Фернандо Кортес.
Он, как и Колумб, титан
В пантеоне новой эры.

Такова судьба героев,
Таково ее коварство:
Сочетает наше имя
С низким именем злодея.

Разве не отрадней кануть
В омут мрака и забвенья,
Нежели влачить вовеки
Спутника с собой такого?

Христофор Колумб великий
Был герой с открытым сердцем,
Чистым, как сиянье солнца,
И неизмеримо щедрым.

Много благ дарилось людям,
Но Колумб им в дар принес
Мир, дотоле неизвестный;
Этот мир — Америка.

Не освободил он нас
Из темницы мрачной мира,
Но сумел ее расширить
И длиннее цепь нам сделать.

Человечество ликует,
Утомясь и от Европы
И от Азии, а также
И от Африки не меньше...

Лишь единственный герой
Нечто лучшее принес нам,
Нежели Колумб, — и это
Тот, кто даровал нам бога.

Был Арам его папаша,
Мать звалась Иохавед,
Сам он Моисей зовется,
Это — мой герой любимый.

Но, Пегас мой, ты упорно
Топчешься вблизи Колумба.
Знай, помчимся мы с тобою
Кортесу вослед сегодня.

Конь крылатый! Мощным взмахом
Пестрых крыл умчи меня
В Новый свет — в чудесный край,
Тот, что Мексикой зовется.

В замок отнеси меня,
Что властитель Монтецума
Столь радушно предоставил
Для своих гостей-испанцев.

Но не только кров и пищу —
В изобилии великом
Дал король бродягам пришлым
Драгоценные подарки,

Золотые украшения
Хитроумного чекана, —
Всё твердило, что монарх
Благосклонен и приветлив.

Он, язычник закоснелый,
Слеп и не цивилизован,
Чтил еще и честь, и верность,
Долг святой гостеприимства.

Как-то празднество устроить
В честь его решили гости.
Он, нимало не колеблясь,
Дал согласие явиться,

И со всей своею свитой
Прибыл, не страшась измены,
В замок, отданный гостям;
Встретили его фанфары.

Пьесы, что в тот день давалась,
Я названия не знаю,
Может быть — «Испанца верность».
Автор — дон Фернандо Кортес.

По условленному знаку
Вдруг на короля напали.
Связан был он и оставлен
У испанцев как заложник.

Но он умер — и тогда
Сразу прорвалась плотина,
Что авантюристов дерзких
От народа защищала.

Поднялся прибой ужасный.
Словно бурный океан,
Приливали ближе, ближе
Гневные людские волны.

Но хотя испанцы храбро
Отражали каждый натиск,
Всё-таки подвергся замок
Изнурительной осаде.

После смерти Монтецумы
Кончился подвоз припасов;
Рацион их стал короче,
Лица сделались длиннее.

И сыны страны испанской,
Постно глядя друг на друга,
Вспоминали с тяжким вздохом
Христианскую отчину,

Вспоминали край родной,
Где звонят в церквах смиренно
И несется мирный запах
Вкусной оллеа-потриды,

Подрумяненной, с горошком,
Меж которым так лукаво
Прячутся, шипя тихонько,
С тонким чесноком колбаски.

Созван был совет военный,
И решили отступить:
На другой же день с рассветом
Войско всё покинет город.

Раньше хитростью проникнуть
Удалось туда испанцам.
Не предвидел умный Кортес
Всех препятствий к возвращенью.

Город Мексико стоит
Среди озера большого;
Посредине укреплен
Остров гордою твердыней.

Чтобы на́ берег попасть,
Есть плоты, суда, паромы
И мосты на мощных сваях;
Вброд по островкам проходят.

До зари во мгле рассветной
Поднялись в поход испанцы.
Сбор не били барабаны,
Трубы не трубили зорю,

Чтоб хозяев не будить
От предутренней дремоты...
(Сотня тысяч мексиканцев
Крепкий замок осаждала.)

Но испанец счет составил,
Не спросясь своих хозяев;
В этот день гораздо раньше
Были на ногах индейцы.

На мостах и на паромах,
Возле переправ, они
С угощеньем провожали
Дорогих гостей в дорогу.

На мостах, плотах и гатях —
Гайда! — было пированье.
Там текла ручьями кровь,
Смело бражники сражались —

Все дрались лицом к лицу,
И нагая грудь индейца
Сохраняла отпечаток
Вражьих панцырей узорных.

Там друг друга в страшной схватке
Люди резали, душили.
Медленно поток катился
По мостам, плотам и гатям.

Мексиканцы дико выли;
Молча бились все испанцы,
Шаг за шагом очищая
Путь к спасению себе.

Но в таких проходах тесных
Нынче не решает боя
Тактика Европы старой, —
Кони, шлемы, огнеметы.

Многие испанцы также
Золото несли с собою,
Что награбили недавно...
Бремя желтое, увы,

Было в битве лишь помехой;
Этот дьявольский металл
В бездну влек не только душу,
Но и тело в равной мере.

Стаей барок и челнов
Озеро меж тем покрылось;
Тучи стрел неслись оттуда
На мосты, плоты и гати.

Правда, и в своих же братьев
Попадали мексиканцы,
Но сражали также многих
Благороднейших идальго.

На мосту четвергом пал
Кавалер Гастон, который
Знамя нес с изображеньем
Пресвятой Марии девы.

В знамя это попадали
Стрелы мексиканцев часто;
Шесть из этих стрел остались
Прямо в сердце у Мадонны,

Как мечи златые в сердце
Богоматери скорбящей
На иконах, выносимых
В пятницу страстной недели.

Дон Гастон перед кончиной
Знамя передал Гонсальво,
Но и он, сражен стрелою,
Вскоре пал. — В тот самый миг

Принял дорогое знамя
Кортес, и в седле высоком
Он держал его, покуда
К вечеру не смолкла битва.

Сотни полторы испанцев
В этот день убито было;
Восемьдесят их живыми
К мексиканцам в плен попало.

Многие, уйдя от плена,
Умерли от ран позднее.
Боевых коней с десятков
Увезли с собой индейцы.

На закате лишь достигли
Кортес и его отряды
Твердой почвы — побережья
С чахлой рощей ив плакучих.

II

Страшный день прошел. Настала
Бредовая ночь триумфа;
Тысячи огней победных
Запылали в Мексике.

Тысячи огней победных,
Факелов, костров смолистых

Ярким светом озаряют
Капища богов, палаты

И превосходящий всё
Храм огромный Фицлипуцли,
Что из кирпича построен
И напоминает храмы

Вавилона и Египта —
Дикие сооруженья,
Как их пишет на картинах
Англичанин Генри Мартин.

Да, узнать легко их. Эти
Лестницы так широки,
Что по ним свободно всходит
Много тысяч мексиканцев.

А на ступенях пируют
Кучки воинов свирепых
В опьянение от победы
И от пальмового хмеля.

Эти лестницы выводят
Через несколько уступов
В высоту, на кровлю храма
С балюстрадаю резною.

Там на троне восседает
Сам великий Фицлипуцли,
Кровожадный бог сражений.
Это — злобный людоед,

Но он с виду так потешен,
Так затейлив и ребячлив,
Что, внушая страх, невольню
Заставляет нас смеяться...

И приходят две фигуры
Одновременно на ум:
Базельская «Пляска смерти»
И брюссельский Меннкен-Писс.

Справа от него миряне,
Слева — всё попы толпятся;
В пестрых перьях, как в тиарах,
Щеголяет нынче клир.

А на ступенях алтарных
Старичок сидит столетний,
Безволосый, безбородый;
Он в кроваво-красной куртке.

Это — жрец верховный бога.
Точит он с улыбкой ножик,
Искося корою глядя
На владыку своего.

Фицлипуцли взор его
Понимает, очевидно:
Он ресницами моргает,
А порой кривит и губы.

Вся духовная капелла
Тут же выстроилась в ряд:
Трубачи и литавристы —
Грохот, вой рогов коровьих...

Шум, и гам, и вой, и грохот,
И внезапно раздаётся
Мексиканское Те Деум,
Как мяуканье кошачье, —

Как мяуканье кошачье,
Но такой породы кошек,
Что названье тигров носят
И едят людское мясо!

И когда полночный ветер
Звуки к берегу доносит,
У испанцев уцелевших
Кошки на сердце скребут.

У плакучих ив прибрежных
Все они стоят печально,
Взгляд на город устремив,
Что в озерных темных струях

Отражает, издеваясь,
Все огни своей победы,
И глядят, как из партера
Необъятного театра,

Где открытой сценой служит
Кровля храма Фицлипуцци
И мистерию дают
В честь одержанной победы.

Называют драму ту
«Человеческая жертва»;
В христианской обработке
Пьеса менее ужасна,

Ибо там вином церковным
Кровь подменена, а тело,
Упомянутое в тексте, —
Пресной тоненькой лепешкой.

Но на сей раз у индейцев
Дело шло весьма серьезно,
Ибо ели мясо там
И текла людская кровь,

Безупречная к тому же
Кровь исконных христиан,
Кровь без примеси малейшей
Мавританской иль еврейской.

Радуйся, о Фицлипуцци:
Потечет испанцев кровь;
Запахом ее горячим
Усладишь ты обонянье.

Вечером тебе зарежут
Восемьдесят кабалеро —
Превосходное жаркое
Для жрецов твоих на ужин.

Жрец ведь только человек,
И ему жратва потребна.
Жить, как боги, он не может
Воскуреньями одними.

Чу! Гремят литавры смерти,
Хрипло воет рог коровий!
Это значит, что выводят
Смертников из подземелья.

Восемьдесят кабалеро,
Все обнажены позорно,
Руки скручены веревкой.
Их ведут наверх и тащат,

Пред кумиром Фицлипуцци
Силой ставят на колени
И плясать их заставляют,
Подвергая истязаньям,

Столь жестоким и ужасным,
Что отчаянные крики
Заглушают дикий гомон
Опьяневших людоедов.

Бедных зрителей толпа
У побережья во мраке!
Кортес и отряд испанцев
Голоса друзей узнали

И на сцене освещенной
Ясно увидали всё:
Их движения, их корчи,
Увидали нож и кровь.

И с тоскою сняли шлемы,
Опустились на колени
И псалом запели скорбный
Об усопших «De profundis!»

Был в числе ведомых на смерть
И Раймондо де-Мендоса,
Сын прекрасной аббатисы,
Первой Кортеса любви.

На груди его увидел
Кортес медальон заветный,
Матери портрет скрывавший, —
И в глазах блеснули слезы.

Но смахнул он их перчаткой
Жесткой буйволово́й кожи
И вздохнул, с другими хором
Повторяя «Miserege!»

III

Вот уже бледнеют звезды,
Поднялся туман рассветный —
Словно призраки толпою
В саванах влекутся белых.

Кончен пир, огни погасли,
И в кумирне стало тихо.
На полу, залитом кровью,
Все храпят — и поп и паства.

Только в красной куртке жрец
Не уснул и в полумраке,
Приторно оскалив зубы,
С речью обратился к богу:

«Фицлипуцли, Пуцлифицли,
Боженька наш Фицлипуцли!
Ты потешился сегодня,
Обоняя ароматы!

Кровь испанская лилась —
О, как пахло аппетитно,
И твой носик сладострастно,
Лоснился, вдыхая запах.

Завтра мы тебе заколем
Редкостных коней заморских —
Порожденья духов ветра—
И резвящихся дельфинов.

Если паинькой ты будешь,
Я тебе зарежу внуков;
Оба — детки хоть куда,
Старости моей услада.

Но за это должен ты
Нам ниспосылать победы —
Слышишь, боженька мой милый,
Пуцлифицли, Фицлипуцли?

Сокруши врагов ты наших,
Чужеземцев, что из дальних
Стран, покамест не открытых,
По морю сюда приплыли.

Что их гонит из отчизны?
Голод или злодеянье?
«На родной земле работай
И кормись» — есть поговорка.

Нашим золотом карманы
Набивать они желают
И сулят, что мы на небе
Будем счастливы когда-то!

Мы сначала их считали
Существами неземными,
Грозными сынами солнца,
Повелителями молний.

Но они такие ж люди,
Как и мы, и умерщвлению
Поддаются без труда.
Это испытал мой нож.

Да, они такие ж люди,
Как и мы, — причем иные
Хуже обезьян косматых;
Лица их в густой шерсти;

Многие в своих штанах
Хвост скрывают обезьяний, —
Тем же, кто не обезьяна,
Никаких штанов не нужно.

И в моральном отношенье
Их уродство велико;
Даже, говорят, они
Собственных богов съедают..

Истреби отродье злое
Нечестивых богоедов,
Фицлипуцли, Пуцлифицили,
Дай побед нам, Фицлипуцли!»

Долго жрец шептался с богом,
И звучит ему в ответ
Глухо, как полночный ветер,
Что камыш озерный зыблет:

«Живодер в кровавой куртке!
Много тысяч ты зарезал,
А теперь свой нож себе же
В тело дряхлое вонзи.

Тотчас выскользнет душа
Из распоротого тела
И по кочкам и корягам
Затрусит к стоячей луже.

Там тебя с приветом спросит
Тетушка, царица крыс:
«Добрый день, душа нагая,
Как племянничку живется?»

Фицлипутствует ли он
На медвяном солнцепеке?
Отгоняет ли Удача
От него и мух и мысли?

Иль скребет его богиня
Всяких бедствий, Кацлагара,
Черной лапою железной,
Напоенною отравой?»

Отвечай, душа нагая:
«Кланяется Фицлипуцли
И тебе, дурная тварь,
Сдохнуть от чумы желает.

Ты войной его прельстила.
Твой совет был страшной бездной —
Исполняется седое,
Горестное предсказанье

О погибели страны
От злодеев бородатых,
Что на птицах деревянных
Прилетят сюда с востока.

Есть другая поговорка:
Воля женщин — воля божья;
Вдвое крепче воля божья,
Коль решила богоматерь.

На меня она гневится,
Гордая царица неба,
Незапятнанная дева
С чудотворной, вещей силой.

Вот испанских войск оплот.
От ее руки погибну
Я, злосчастный бог индейский,
Вместе с бедной Мексикой».

Поручение исполнив,
Пусть душа твоя нагая
В нору спрячется. — Усни,
Чтоб моих не видеть бедствий!

Рухнет этот храм огромный,
Сам же я повергнут буду
Средь дымящихся развалин
И не возвращусь вовеки.

Всё ж я не умру; мы, боги,
Долговечней попугаев.
Мы, как и они, линяем
И меняем оперенье.

Я переселюсь в Европу
(Так врагов моих отчизна
Называется) — и там-то
Новую начну карьеру.

В чорта обращусь я; бог
Станет богомерзкой харей;
Злейший враг моих врагов,
Я примусь тогда за дело.

Там врагов я стану мучить,
Призраками их пугая.
Предвкушая ад, повсюду
Слышать будут запах серы.

Мудрых и глупцов прельщу я;
Добродетель их щекоткой
Хохотать заставлю нагло,
Словно уличную девку.

Да, хочу я чортом стать,
Шлю приятелям привет мой:
Сатане и Велиалу,
Астароту, Вельзевулу.

А тебе привет особый,
Мать грехов, змея Лилита!
Дай мне стать, как ты, жестоким,
Дай искусство лжи постигнуть!

Дорогая Мексика!
Я тебя спасти не властен,
Но отмщу я страшной мезтью,
Дорогая Мексика!»



КНИГА ВТОРАЯ

ЛАМЕНТАЦИИ

Удача — резвая плутовка:
Нигде подолгу не сидит;
Тебя потреплет по головке
И, быстро чмокнув, прочь спешит.

Несчастье — дама много строже:
Тебя к груди, любя, прижмет,
Усядется к тебе на ложе
И не спеша вязать начнет.

ЛЕСНОЕ УЕДИНЕНИЕ

Бывало в годы молодые
Венком украшал я кудри густые;
Чудесен каждый был цветок,
И полон чар был мой венок.

Венок был, правда, всем по вкусу;
Не столь — его обладатель безусый.
Бежал от зависти людской,
Бежал я в зеленый приют лесной.

В лесу, в лесу — лишь там свободой
Я мог упиться вдвоем с природой!
Фей и серны, в ветвистых рогах,
Ко мне подходили, забыв всякий страх.

Ко мне подходили они совсем близко,
Не видя в том ни капельки риска:
Не был охотником я для зверей,
Тварью разумной я не был для фей.

Про ласковость фей лишь глупцы бы трубили;
Но что другие приветливы были
Почетные граждане леса ко мне —
Это признать могу я вполне.

Как мило вокруг меня эльфы порхали!
Воздушный народец! Болтали, визжали!
Чуть-чуть колюч лишь взор их был, —
За миг наслажденья он гибель сулил.

Меня они тешили играми, пляской,
А то забавляли какой-нибудь сказкой
Иль сплетней про свидания
Царицы их Титании.

Сижу ль над ручьем, — погружались, ныряли,
В серебряном длинном своем покрывале,
В порхающем взлёте кудрей, из пучин,
Водные духи, толпы ундиин.

Они ударяли по цитрам, по скрипкам,
Кружась в хороводе неистово-зыбком;
Позы, движенья, мелодии звук —
То был звенящий, летящий круг.

Бывали, впрочем, у них минутки,
Когда затихали мои малютки;
Тогда садились они отдохнуть,
Головкой прильнув ко мне на грудь.

Трели мурлыкали, пели романсы,
К примеру, заморский — про три померанца;
Награждали также хвалой
Меня и возвышенный облик мой.

Песни порою они прерывали
Смехом — и сложный вопрос предлагали,
К примеру: «Скажи, на какой предмет
Создал господь человека на свет?»

Бессмертна ль у всех вас душа или тоже,
Подобно телу, она из кожи
Иль из прочного льна? Почему
Так недалек человек по уму?»

Что отвечал я им, — конечно
Я скрою здесь, но душе моей вечной
Обиды вовсе не нанес
Ундины маленькой вопрос.

Ундины и эльфы прелестны, лукавы, —
Земные же духи открытого нрава
И преданы людям всем сердцем. Меж них
Мне нравились гномы больше других.

Одежда их — плащик пурпуровый, длинный;
У них любознательно-робкие мины;
Я не дал понять им, что знал, отчего
Ступни они прячут пуще всего.

О том, что у них утиные ножки,
Никто не знает, думают крошки;
Боль причинял им этот порок,
Я насмеяться над ними не мог.

Подобно карлам этим — ах, боже! —
Все мы скрываем что-нибудь тоже
И мним, что никто никогда не узрит,
Где наша утиная ножка торчит.

Саламандры знакомства со мной не водили,
И очень немного о них сообщили
Мне духи лесные. Ночью глухой,
Как тени, скользили они предо мной.

Тонки, как спички, тщедушны, юрки,
Узко обтянуты брючки и куртки,
Цвета багрянца, с шитьем золотым,
С видом угрюмым, желчным, больным.

Венчик из золота, в ярких рубинах,
Носят они на головках змеиных, —
И каждая хочет разыгрывать роль,
Как будто она — абсолютный король.

То, что в огне они не сгорают,
Хитрая штука — всякий признаёт;
Но и при этом они для меня
Не настоящие духи огня!

Меж духов других — обитателей бора —
Смышлёней всех — старички-мандрагоры;
Длинные бороды, рост с ногтей, —
Что за народ, никому невдомек!

Когда при луне они кувыркались,
Просто сморчками они мне казались;
Но так как от них лишь добро я видал,
То в их родословную я не вникал.

Учили они меня разным уловкам:
Птиц заколдовывать окриком ловким;
В ночь на Ивана Купалу срывать
Цвет-невидимку; огонь заклинать.

Учили гадать по звездам без осечки,
На ветре скакать без седла и уздечки
И с помощью вещей рунических слов
Выманывать мертвых из их гробов.

Учили проделкам меня и таким:
Как дятла обманывать свистом глухим,
Чтобы добыть разрыв-траву
И клад отыскать, зарытый во рву.

Словам, что бормочут при поисках клада.
И всем наговорам, каким только надо,
Меня обучали, — да только не впрок!
Искусство наживы постичь я не мог.

К тому ж не нуждался я в этом, пожалуй:
Немногим довольствуясь, тратил я мало;
Воздушными замками я обладал
И на доходы от них проживал.

О чудное время, когда бывало
Душа от счастья трепетала!
Кóбольдов шутки, танцы наяд
В сердце волшебный вливали мне яд!

О чудное время! Помню, в те годы
Яркой листвы триумфальные своды
Мне, как герою, лес открывал;
Лавром увенчан, в него я вступал!

То чудное время давно улетело,
И всё изменилось с тех пор, потускнело;
Навек похищен был — увы! —
Венок волшебный с моей головы.

Венка чело мое лишилось, —
Не знаю, как это приключилось,
Одно лишь знаю — с этих пор
Душа пуста и пуст мой взор.

Глазеют вокруг какие-то маски
Бессмысленно-жутко! Небо без ласки,
Как мрачный погост, без бога, немой;
В лес я вхожу с поникшей главой.

Из лесу эльфы скрылись проворно;
Лай псов там слышен, охотничьи горны;
Прячется серна в чаще лесной,
Раны зализывая с тоской.

А где мандрагоры? Наверно, засели
Они от испуга в горные щели!
Вновь посещаю, друзья мои, вас, —
Но без венка и без счастья в сей раз!

Где светлая фея, чью нежность впервые
Изведал я в те дни золотые?
Дуб, в чьем она обитала дупле,
Ветром растерзан, склонился к земле.

Мрачно, как Стикс, шумит стремнина;
На берегу пустынном ундина,
Как изваянье, смертельно бледна,
Словно в глубоком горе она.

К ней с состраданьем я подхожу, —
В страхе вскочила ундина, гляжу,
И ускользает с таким выраженьем,
Словно столкнулась она с привиденьем.

ИСПАНСКИЕ АТРИДЫ

В лето тысяча и триста
Восемьдесят три, в Губертов
День, в Сеговии дворянству
Дал король обед парадный.

Все придворные обеды
Одинаковы. Зевает
Та же царственная скука
За столами всех монархов.

Блюда золотые, яства
Всех краев и побережий
И свинцовый тот же вкус —
Вспомнишь о стряпне Локусты.

Та же чернь в шелках нарядных,
Что кивает головами,
Словно в цветниках тюльпаны;
Только соуса различны.

И шушуканье и гомон,
Словно мак, наводят дрему.
Лишь фанфары пробуждают
Вас от одури и жвачки.

Дон Диего Альбукерке
Был моим соседом, к счастью,
И лилась живым потоком
Речь разумная его.

Знал он, как свои пять пальцев,
Все придворные рассказы
Дней кровавых дона Педро,
Что Жестоким прозывался.

Я спросил, за что дон Педро
Повелел казнить Фредрего,
Своего родного брата.
Молвил мой сосед со вздохом:

«О сеньор! Не верьте песням,
Что бренчит погонщик мулов
Иль бродяга на гитаре
В кабачке или харчевне.

И не верьте небылицам
Пошлым о любви Фредрего
И супруги дона Педро,
Нежной доньи Бланш Бурбонской.

Жертвой зависти и злобы,
А не ревности супруга,
Пал Фредрего, Калатравы
Ордена магистр великий.

Слава брата — преступленье,
Что дон Педро не простил,
Слава, о которой всюду
Госпожа Молва трубила.

Также не прощал дон Педро
Высоты его душевной
И прекрасного обличья,
Зеркалу души подобной.

В памяти моей не блекнет
Рыцарства цветок тот стройный;
Никогда не позабуду
Лик мечтательный и юный.

Верьте: был он из породы
Тех, которых любят феи.
Тайной сказочной и вещей
Облик был его отмечен.

Синий блеск его очей
Камнем редкостным слепил,
Но была и твердость в них,
Твердость редкостного камня.

Были волосы его
Иссиня-черны с отливом
И на плечи ниспадали
Пышно вьющейся волною.

В стройном городе Коимбре,
Отвоеванном у мавров,
Принца бедного увидел
Я живым в последний раз.

Из Алькасара скакал он
На коне вдоль улиц тесных.
Много юных мавританок
За решетками вздыхало.

Перья веяли на шлеме
Кавалерственно-галантно,
Но твердил о чистоте
Крест на епанче суровый.

Близ коня, хвостом махая,
Весело бежал любимый
Пес его Аллан. Порода
В Сьерре выведена эта.

Был велик он непомерно,
Но стройнее горной лани,
С благородной острой мордой,
Что напоминала лисью.

Шерсть волнистая казалась
Мягче и белее снега;
Был рубинами усеян
Золотой его ошейник.

Говорили: талисман
Верности закован в злате.
Ни на миг не покидал он
Господина, верный пёс.

Как страшна была та верность!
До сих пор я содрогаюсь,
Вспоминая, как она
Объявилась перед нами.

О, как день тот был ужасен!
Это было здесь, в палате,
И сидел я, как сейчас,
За обедом королевским.

За столом на главном месте,
Там, где ныне дон Энрико
С цветом рыцарей кастильских
Осушает кубок свой, —

Нем и хмур сидел дон Педро,
И сияла красотой,
Словно дочь богини, рядом
С ним Мария де-Падилья.

Здесь, на самом нижнем месте,
Где сейчас мы видим даму,
Утопающую в брызгах,
Схожих с белой тарелкой, —

Между тем как желтизною
Личика с улыбкой кислой
Кажется она лимоном
На тарелке таковой; —

Здесь, на самом нижнем месте,
Был прибор один свободный;
Золоченый стул, казалось,
Гостю знатному оставлен.

Дон Фредрего был тот гость,
Для него прибор и место.
Не являлся он, — мы знаем,
Отчего замедлил он.

В этот самый час — о горе! —
Дело темное свершилось.
Схвачен юный был герой
Стражниками дона Педро,

Схвачен в западне коварной,
Связан был и отведен
В сумрачное подземелье,
Где лишь факелы горели.

Там уж палачи стояли,
Там стоял заплочный мастер;
Опираясь на секиру,
Скорбно он проговорил:

«Вы, магистер Калатравы,
К смерти ныне приготовьтесь.
Четверть часа вам дано
На последнюю молитву».

Преклонив колени, тихо
Помолился дон Фредрего
И, сказав: «Теперь я кончил»,
Голову склонил под меч.

В тот же миг, едва на плиты
Голова его упала,
Подскочил Аллан, пёс верный,
Что пробрался в подземелье.

Голову за кудри цепко
Он зубами ухватил
И с добычей дорогою
Прочь стремительно умчался.

Крик и вопли провожали
На пути его повсюду
По проходам и палатам,
Вверх и вниз по ступеням.

Только с пиром Валтасара
То смятение сравнится,
Что внезапно воцарилось
В нашем пиршественном зале,

Лишь туда ворвался вихрем
С мертвой головой Фредрего
Страшный пес, ее влачивший
За волос кровавых пряди.

И на золоченый стул,
Что свободным оставался,
Он вскочил и нам, как судьям,
Показал свою улику.

Ах, то был нам всем знакомый
Лик героя, но бледнее,
Строже от смертельных мук,
И вокруг чела ужасно

Черные свивались кудри,
Вздыбившись, подобно змеям
На главе Медузы, в камень
Превращавшей человека.

Да и мы окаменели.
Мы смотрели друг на друга,
Скованы уста все были
Ужасом и этикетом.

Лишь Мария де-Падилья
Вдруг нарушила молчанье;
Вскрикнув, заломила руки,
Вещим ужасом полна:

«Слух пройдет отныне, будто
Я была виной убийства,
Рок детей моих настигнет,
Неповинных и несчастных!»

Дон Диего смолк, заметив,
Что обед уже окончен,
Что придворные все встали
И покинули палату.

Он меня сопровождать
Вывался весьма любезно,
И отправились мы вместе
В старом замке побродить.

В полутемной галлерее,
Что ведет к дворцовым псарням,
Издали уже заметным
По рычанию и лаю, —

Я увидел, проходя,
В каменной стене глухую
Келью наподобье клетки,
За решеткою железной.

Два каких-то существа
Там виднелись — два ребенка.
Цепью за ногу прикован,
Каждый, скорчившись, сидел.

Лет двенадцати был младший
И другой едва ли старше;
Оба с тонкими чертами,
Но изнурены и хилы.

Не могли рубцов на теле
Скрыть убогие лохмотья.
На гнилой соломе дети
В лихорадке сотрясались.

Удрученные несчастьем,
Поднимали взор они
Сонно-призрачный и белый,
Так что становилось страшно.

«Кто они, кто эти двое?»
Вскрикнул я, схватив Диего
За руку; я ощутил,
Как она в моей дрожала.

Дон Диего, чуть смутившись,
Оглянулся осторожно
И затем, вздохнув глубоко,
Молвил с напускной улыбкой:

«Перед вами здесь два принца,
Что давно осиротели.
Их отец король был Педро,
Мать — Мария де-Падилья.

Бой при Нарвасе известен,
Где Энрико Транстамаре
С брата Педро, венценосца,
Сразу снял двойное бремя,

От венца его избавив
И от жизни — тяжелой ноши.
Также он и к детям брата
Проявил великодушье:

Позаботился о сирых,
Как и подобает дяде,
Во дворце своем назначил
Им жилище и питание.

Тесно, правда, в той каморке,
Где велел он поместить их,
Но прохладно здесь в июле,
А зимой не так уж люто.

Им дается черный хлеб,
Что питателен и вкусен,
Будто испечен Церерой
Для бесценной Прозерпины.

Иногда приносят им
Чашку полную горошку.
Дети знают: в этот день
У испанцев воскресенье.

Не всегда, однако, праздник,
Не всегда дают горошек,
И порой начальник псарни
Угостить идет их плетью.

Ибо сказанный начальник,
Коего надзору псарни
И с племянниками клетка
Вверены на усмотренье,

Есть супруг — притом несчастный —
Той лимонно-кислой дамы,
Желтолицей, в белых брыжах,
Что сидела за обедом.

И она брюзжит порою
Так ехидно, что супруг,
Плетку взяв, уходит — злобу
Выместить на псах и детях.

Но король, узнав об этом,
Недовольный, приказал,
Чтобы делали различье
Между принцами и псами.

От наемного кнута
Он племянников избавил
И теперь собственноручно
Их воспитывать решил».

Дон Диего смолк внезапно:
К нам приблизился дворецкий,
Поклонился и спросил,
Как довольны мы обедом.

ЭКС-ЖИВОЙ

«О Брут, где Кассий, где часовой,
Глашатай идеи священной,
Не раз отводивший душу с тобой
В вечерних прогулках над Сеной?»

На землю взирали вы свысока,
Паря наравне с облаками,
Была туманней, чем облака,
Идея, владевшая вами.

О Брут, где Кассий, твой друг, твой брат,
О мщенье забывший так рано?
Ведь он на Неккаре стал, говорят,
Чтецом при особе тирана!»

Но Брут отвечает: «Ты круглый дурак!
О близорукость поэта!
Мой Кассий читает тирану, но так,
Чтоб сжить тирана со света.

Стихи Мацерата выкопал плут,
Страшней кинжала их звуки.
Рано иль поздно тирану капут, —
Бедняга погибнет от скуки».

БЫВШИЙ СТРАЖ НОЧЕЙ

Недовольный переменой, —
Штутгарт с Неккаром, прости! —
Он на Изар править сценой
В Мюнхен должен был уйти.

В той земле, где все красиво, —
Ум и сердце веселя,
Еродит мартовское пиво,
И гордится им земля.

Но, попавши в интенданты,
Он, бедняга, говорят,
Ходит сумрачный, как Данте,
И, как Байрон, супит взгляд.

Он невесел от комедий,
В бредни виршей не влюблен,
И над страхами трагедий
Не смеется даже он.

Девы рвением объаты —
Сердцу скорбному помочь,
Но отводят, встретив латы,
Взоры ласковые прочь.

Из-под чепчика веселье
В смехе Наннерле звучит.
«Ах, голубка, шла бы в келью!» —
Датским принцем он ворчит.

Принялись, хоть труд напрасен,
Развлекать его друзья
И поют: «Твой светоч ясен, —
Пей услады бытия!»

Как же груз хандры тяжелой
Не спадет с твоей груди
В этой местности веселой,
Где шутами пруд пруди?

Но теперь там смеха мало,
Смех там несколько заглох:
Стали реже запевалы,
А без них ведь город плох.

Будь тебе хоть Масман дан там, —
Этот бравый господин
Цирковым своим талантом
Разогнал бы весь твой сплин.

Шеллинг, кто его заменит?
Без него не мил и свет!
Мудрецов смешней нигде нет
И шутов почтенней нет.

Что ушел творец Валгаллы,
Что — как плод его труда —
Им завещан том немалый, —
Это разве не беда?

За Корнелиусом сникли
Свиты всей его чины,
Ибо волосы остригли,
А без оных не сильны.

Шеф был опытнее вдвое:
В гривах сеял колдовство,
Что-то двигалось живое
В них нередко оттого.

Геррес пал. — Гиена сдохла.
Краха клириков не снес
Инквизитор, чье не сохло
Веко, вспухшее от слез.

Этим хищником лишь кролик
Нам в наследье был прижит:
Жрет он снадобья от колик,
Сам он — тоже ядовит.

Кстати, папский Доллингерий —
Так ведь, бишь, мерзавца звать? —
Продолжает в прежней мере
Он на Изаре дышать?

В самый светлый день я даже
Вспоминаю эту тварь!
Ни мерзотнее ни гаже
Не видал еще я харь.

Говорят болтуны наши,
Что на свет он вышел вдруг
Между ягодиц мамаша,
Чей понятен перепуг.

Перед Пасхой в крестном ходе
Мне попался как-то он, —
Был он в темном этом сброде
Самой темной из персон.

Да, Monacho Monachorum
Есть монашья цитадель,
Град virorum obsurgorum,
Шуток Гуттеновых цель.

Словом «Гуттен» потрясенный,
Встань же, бывший страж ночей,
И поповский хлам зловонный
Бей, как прежде, не жалеи!

Как бывало рыцарь Ульрих,
В кровь лупи их по крестцам!
Не страшась их воплей, дурь их
Выбивал он смело сам.

В корчах смеха у Эразма —
Столь он рад был той игре —
Лопнул чирей из-за спазма
И полэгчало в нутре.

Зикинген от воплей своры,
Как безумный, хохотал,
И любой немецкий город
Эбернбургу подражал.

Дружный хохот брал измором
Даже тех, кто вечно хмур.
В Виттенберге пели хором
«Gaudeamus igitur!»

Выбивая рясы, Гуттен
Свой брезгливо морщил лоб;
Тучей блох он был окутан
И частенько кожу скреб.

Кличем «Alea est jacta!»
Им суля переполох,
Рыцарь этак бил и так-то
И священников и блох.

Что ж ты, бывший страж полночный,
Не встряхнешься, часовой,
Влагой Изара проточной
Сплин не вылечится твой?

В путь, к победам! Ноги длинные, —
Рви сутану, — все равно,
Шелк на ней ли благочинный
Или грубое рядно.

Хрустнув кистью, с кислой миной,
Он, вздыхая, говорит:
«Что с того, что ноги длинные?
Я Европой слишком сыт.

Я натер себе мозоли —
Узок родины штиблет —
Где ступню он жмет до боли,
Знаю сам — охоты нет!»

ПЛАТЕНИДЫ

«Илиаду», «Одиссею»
Ты изволишь возвещать,
И немецким корифеем
Мы должны тебя признать.

Подвиг совершить словесный
Вздумал, музам вопреки.
О! Мне издавна известны
Выспренности должники.

Здесь, Родос, яви нам чудо
Мастерства, — здесь в моде пляс!
Иль проваливай отсюда,
Коль не плящется сейчас.

Истый принц из «Генриады»
За свои же деньги сыт.
Гёте с Шиллером награды
Не желали брать в кредит.

Славы громкие литавры
Не звенели им в заем,
И авансовые лавры
Не росли над их челом.

Старый юнкер спит в гробнице,
Но растет его зерно.
О! Я слышал небылицы
О бессмертности давно.

Зреет платенское семя —
Галлермундов славный род.
Платениды! Ваше племя
Знаю я наперечет.

МИФОЛОГИЯ

Да! Европа покорилась —
У быка ведь мощь большая!
И не странно, что Даная
Золотым дождем прельстилась.

И Семела — жертва страсти,
Не подумала, что туча,
Идеальнейшая туча,
В небесах таит напасти.

Только Леде не простится
За оплошность, даже ныне, —
Надо ж быть такой гусыней,
Чтобы лебедем плениться.

МАТИЛЬДЕ В АЛЬБОМ

На стертых лоскутах тетради
Тебе обязан я, как муж,
Пером гусиным, шутки ради,
Строчить рифмованную чушь, —

Хоть изъясняюсь я недурно
На розах губ твоих в тиши,
Когда лобзанья рвутся бурно,
Как пламя, из глубин души!

О моды роковая сила!
Бесись, но если ты поэт —
Как все поэзии светила,
Строчи в альбом жены куплет.

ЮНЫМ

Пусть не смущают, пусть не прельщают
Плоды Гесперидских садов в пути,
Пусть стрелы летают, мечи сверкают, —
Герой бесстрашно должен идти.

Кто выступил смело, тот сделал полдела;
Весь мир, Александр, в твоих руках!
Минута приспела! Героя Арбеллы
Уж молят царицы, склонившись во прах.

Прочь страх и сомненья! За муки лишенья
Награда нам — Дария ложе и трон!
О сладость паденья! О верх упоенья —
Смерть встретить, победно войдя в Вавилон!

НЕВЕРУЮЩИЙ

В моих объятьях будешь ты!
И неге нет названья,
И сердце бьется и дрожит
От сладостного мечтанья.

В моих объятьях будешь ты!
Кудрями я играю
Златыми! И на плечо мое
Ты склонись, я знаю.

В моих объятьях будешь ты!
Мечта должна свершиться,
Небесной радостью дано
Мне на земле упиться.

Святой Фома! Опасаюсь я,
Дотоле верить не стану,
Пока не вложу свои персты
В раскрытую счастья рану.

KATZEN-JAMMER

Туча, скученно-сера,
Море радостей затмила;
Оттого мне все постыло,
Что был счастлив я вчера.

Нектар стал полынью — ах!
Ну и мстит же мне похмелье:
Katzen-jammer, скорбь кобелья
В самом сердце и кишках!

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Много женщин — много блошек;
Много блошек — много боли;
Блошки жалят понемножку,
Ты же терпишь поневоле.

Мстят они неблагодарно,
Ночью хочешь улыбнуться
И обнять — они коварно
Всей спиной повернутся.

ТЕПЕРЬ КУДА?

Ну, теперь куда? В Берлин
Тянет глупою ногою,
Но рассудок шепчет мудро
И качая головою:

«Хоть и кончена война,
Но военный суд остался, —
Там отмечено, что ты
Уж до пули дописался».

Я не знаю ничего
Неприятней расстрелянья;
Не герой я, чужды мне
Патетичные кривлянья.

Разве в Англию? Но там
Копоть вечная, миазмы...
И народ... уж самый запах
Тошноту влечет и спазмы.

Не в Америку ль отплыть —
В тот громадный хлев свободы,
Где живут так равноправно
Разнокожие народы?

Но противно жить в стране,
Где жуют табак, играют
В кегли все без короля
И плевательниц не знают.

Вот в России, может быть,
Поселиться мне б не худо,
Да боюсь, что в зимний холод
Вынести кнут не в силах буду.

Высоко мигают звезды,
И с тоской на них гляжу я;
Но моей звезды нигде
В небесах не нахожу я.

В лабиринте золотом
Сбилась, может быть, с дороги,
Как и сам я затерялся
В суете земной тревоги.

СТАРАЯ ПЕСНЯ

Ты и не знаешь, что ты уж прах;
Погас огонь в твоих глазах,
Твой ротик стал и бел и тонок,
И мертв ты, мертвый мой ребенок.

Бредовой ночью ведь гроб твой сам
К твоей могиле я нес по лесам;
Не молк соловей всю ночь в печали,
Процессию звезды сопровождали.

За шагом шаг, и в забытии
Лес глухо вторил словам литии,
И в черных одеждах скорбные ели
О вечной памяти нам шелестели.

Средь ив плакучих, над гладью вод,
Там эльфы резвый вели хоровод;
Но вот они прервали пляски,
Печально строя нам вслед гримаски.

Когда ж я могилы твоей достиг,
Месяц спустился с небес в тот миг,
И речь произнес он. Рыданья и стоны...
И колоколен глухие звоны...

ГАРАНТИЯ

Страсть сказала богу песен,
Что потребует залога,
Прежде чем ему отдаться, —
Жить так трудно и убого.

Отвечал ей бог со смехом:
«Изменилось все на свете.
Говоришь, как ростовщик, ты,
Должников ловящий в сети.

Хочешь, дам тебе я лиру —
Правда, лиру золотую.
Под залог ее, красotka,
Сколько дашь ты поцелуев?»

СТАРАЯ РОЗА

Словно розовый бутон,
Мной в мечтах она владела, —
И созрела, — и влюблен
Стал вдвойне я в это тело.

Я сорвать хотел цветок
Этой розы наилучшей —
Ах! как тернии, жесток
Был отпор ее колючий.

Но, от ветров и дождей
Облетевшей, вялой, рваной,
Стал я дорог ныне ей,
Стал я «Генрих мой желанный».

Генрих там и Генрих здесь,
Так и льется щебет кроткий,
Но тернист сегодня весь
Подбородок у красотки.

Слишком челюсть обросла,
Бородавками пестрея...
В монастырь, дитя, бы шла
Иль хотя бы к брадобрею.

АУТО-ДА-ФЕ

Блеклый розан, пыльный локон,
Кончик банта голубого,
Позабитые записки,
Бредни сердца молодого, —

В пламя яркое камина
Я бросаю без участия,
И трещат в огне остатки
Неудач моих и счастья.

Лживо-ветренные клятвы
Улетают струйкой дыма,
И божок любви лукавый
Улыбается незримо.

И гляжу, в мечтах о прошлом,
Я на пламя. Без следа
Догорают в пепле искры. —
Доброй ночи! Навсегда!

ЛАЗАРЬ

1. ХОД ЖИЗНИ

Если много у тебя, —
Станет больше — так ведется.
Если мало, то отдать
Даже малое придется.

Если же ты вовсе нищ,
Смерть помочь тебе сумеет:

Жить имеет право тот,
Кто хоть что-нибудь имеет!

2. ОГЛЯДКА

Во всех ароматах я нанюхан
От этих земных, чудесных кухонь;
И чем насладиться лишь может живой,
Я всем наслаждался, как герой:

Кофе пил я, пирожное ел я,
Много милых кукол имел я;
Был тонок мой фрак, был из шелка жилет,
В машине моей много брэнчало монет.

Как Геллерт, я ездил в седле дорогом;
Имел я замок, имел я дом,
И счастья зеленый луг топтал,
И солнца мне луч золотой сверкал;

И лаврами лоб мой был окружен,
И лавры на мозг навевали сон,
Сон про розы, про вечный май —
А в сердце при этом был подлинный рай

И лени смертной и страстных дремот, —
Жареный голубь летел мне в рот,
И ангелочки ко мне прилетали,
У них из карманов бутылки торчали.

Но замок воздушный, пузырь этот мыльный,
Он лопнул, — теперь лежу я, бессильный,
Каждый мой член ревматизмом сведен,
А гордый дух глубоко смущен.

За каждую радость, за прежний пыл
Я злою досадою заплатил;
Я был измучен мелочами
И был жестоко искусан клопами;

Я черной заботой был охвачен,
Я должен был лгать, занимать без отдачи
У старых ведьм, у богатого братца, —
Я б, верно, стал под конец побираться.

Теперь я устал трепаться, носиться,
Теперь я в могилу хочу завалиться.
Прощайте! Там, в небе, о милые братья,
Само собою, могу вас обнять я.

3. ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

Над миром раздалась труба —
Клич ужаса и славы.
Всех мертвых отдали гроба,
Хрустят и трещат суставы.

Кто ноги имеют, те прочь бегут.
Вся в белом, спешит вереница
К Иосафату, на общий суд —
Туда приказ явиться.

Христос возглавляет судейский стол
В апостольском окруженьи.
Они — присяжные; их глагол
Есть мудрость и снисхожденье.

Никто не спрячется никуда, —
Судить открыто станут,
Когда в день Страшного суда
Громовые трубы грянут.

Таков последний, Страшный суд
В долине лучезарной,
А так как ряды полсудимых растут,
Порядок принят суммарный.

Налево — козлиц, направо — овец,
Так всех разлучат мгновенно:
Овечке послушной — райский венец,
Козлу-похотливцу — геенна.

4. УМИРАЮЩИЙ

Солнца ты искал и благ, —
Возвратился тощ и наг.
Дух родной, рубаху даже —
Распродав ты все, бродяжа.

Стал ты бледен, как мертвец,
Но ты дома наконец.
Словно у камина в детской,
Спать тепло в земле немецкой.

Кое-кто, увы, стал хром —
Не вернется в отчий дом;
Клянит он, чужой и лишний,
Чтоб его призрел всевышний.

5. ГОЛЬ

Богачам лишь плоской лестью,
Друг мой, можно угодить:
Деньги плоски, оттого-то
Им и плоско надо льстить.

Пред тельцами золотыми
Ползай ревностно в пыли,
В лужах мерзостных, но только
Вполовину не хвали.

Нынче хлеб ужасно дорог! —
Что ж! Ты громко воспевай
Псов любимых мецената
И желудок набивай!

6. ВОСПОМИНАНИЕ

Кому — жемчуга, а кому — шкатулка.
Ты рано, Визецкий Вильгельм, утонул как!
А котенок, котенок — спасся.

Полез ты на мостик — а он провалился,
И вот ты сразу в воде очутился!
А котенок, котенок — спасся.

Тебя хоронили мы, мальчик милый:
Цветы над могилой, звон унылый.
А котенок, котенок — спасся.

Ты умницей был: от грозы возможной
Ты во-время скрылся под кров надежный.
А котенок, котенок — спасся.

От грозы ты заранее, умница, скрылся,
Ты, не заболев еще, исцелился.
А котенок, котенок — спасся.

И я, малыш, о тебе все чаще,
Завидуя, думаю с болью щемящей:
«А котенок, котенок — спасся!»

7. НЕСОВЕРШЕНСТВО

Нет совершенства в мире! Хороши б,
Казалось, розы — да колюч их шип;
И ангелам самим, сим духам сущим,
Какой-нибудь порок — а уж присущ им.

Тюльпан не пахнет. Шутка есть у нас:
«Стянул и Эрлих * поросенка раз».
Лукреция, не будь при ней кинжала,
В свой срок, быть может, честно бы рожала.

Павлин красив, а ноги — просто срам!
И остроумнейшая дама нам
Порою надоест, как «Генриада»
Вольтера или Клопштока «Мессиада».

* Игра слов: Эрлих — честный (нем.).

Испанский для коровы — все равно,
 Что Масману латынь. Канова — гений, но
 Зад у его Венеры слишком стесан, —
 Как Масманский заднице плоский нос он.

В нежнейшей песне рифма вдруг режет,
 Как жало, что попало в сладкий мед.
 И сын Фетиды уязвим был в пятку,
 И Александр Дюма имеет мать мулатку.

Ярчайшая звезда — тут нет чудес —
 Подцепит насморк, — и долой с небес!
 От сидра бочкой пахнет неприятно;
 Есть, как известно, и на солнце пятна.

И в вас, мадам, простите, ваша честь,
 Но и у вас ведь недостатки есть.
 «В чем?» — спросите. Вам мой упрек —
загадка?
 Нет груди, а в груди — души нехватка.

8. БЛАГОЧЕСТИВОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Душа бессмертная, осторожней будь,
 Чтобы, невзгоды минуя,
 Покинуть юдоль земную:
 Сквозь смерть и ночь лежит твой путь.

У врат златых в светозарный град
 Допросят божьи солдаты,
 Что делала ты когда-то, —
 Об имени-званье там не говорят.

Там, странница, прежде чем войдешь,
 Расстанешься с обувью тесной,
 И музыкой насладишься чудесной,
 Покой и мягкие туфли найдешь.

9. ОХЛАДЕЛЫЙ

Умрешь, так знай: придется в прах
Надолго слечь; и гложет страх,
Да, страх берет — до воскресенья
Сойдешь с ума от нетерпенья.

Еще б хоть раз, пока светло
В глазах и сердце не сдало,
Еще хоть раз бы, до развязки,
Изведать счастье женской ласки.

Хочу блондинку, чьи нежны
Глаза, как мягкий свет луны.
Вредней, чем солнце в полдень знойный,
Мне жар брюнетки беспокойной.

Цветущим юношам милей
Кипенье бешеных страстей,
Размолвки, клятвы, беснованья
И обоюдные терзанья.

А я немолод, нездоров;
И пусть бы мне, под грустный кров,
Любовь, мечты послали боги —
И счастье — только без тревоги.

10. СОЛОМОН

Умолкли кимвалы, затихли напевы.
Вокруг Соломонова ложа дозоры —
Мечом препоясанных ангелов хоры —
Шесть тысяч направо — шесть тысяч налево.

Их стан сновиденья царя охраняет,
И чуть нахмурит он брови в тревоге,
Тотчас из ножен, озаряя чертоги,
Двенадцать тысяч мечей возникает.

И снова назад в ножны стальные
 Мечи упадают. Рассеян мгновенно
 Кошмар полуночный. И шепчут блаженно
 Уста владыки, дотоле немые:

«О Суламифы! Корону ношу я,
 Великим царством я владею,
 Я — царь Израиля, царь Иудей,
 Но если не любишь, — зачашну, умру я».

11. ПОГИВШИЕ НАДЕЖДЫ

Привлеченные взаимно
 Сходством душ в любой детали,
 Мы всегда друг к другу льнули,
 Хоть того не сознавали.

Оба честны, оба скромны,
 Даже мысли сплошь да рядом
 Мы угадывали молча,
 Обменявшись только взглядом.

О, я жаждал быть с тобою
 До последнего момента —
 Боевым твоим собратом
 В сладком *dolce far niente* *.

Да, я жаждал — до могилы
 Быть с тобою неизменно!
 Все, что ты ни пожелал бы,
 Все бы делал я мгновенно.

Ел бы все, что ты прикажешь,
 И притом хвалил бы с жаром;
 Прочих блюд и не касался б;
 Приучился бы к сигарам.

* приятное ничегонеделанье.

И тебя, как в годы оны,
Угощал бы для забавы
На еврейском диалекте
Анекдотами Варшавы.

Да, забыть бы все мечтанья,
Все шатанья по чужбинам,
К очагу твоей фортуны
Воротиться блудным сыном!

Но, как жизнь, умчались грезы,
Сны растаяли, как пена.
Я лежу, приговоренный,
Мне не вырваться из плена.

Да, и грезы и надежды —
Все прошло, погребло даром!
Ах, мечтатель прямо в сердце
Смертным поражен ударом!

12. ПОМИНКИ

Не отслужат панихиды,
Кадош не прочтут унылый,
Говорить и петь не будут
Над раскрытою могилой.

Если ж теплая погода
Будет в день моей кончины,
То Матильда на Монмартр
Сходит в обществе Полины.

И венок из иммортелей
Принесет она с собою
И промолвит: «*Rauvre homme!*» *
Взор подернется слезою,

* Бедный человек!

К сожаленью, я теперь
 Высоко живу немножко,
 Нету стульев для нее —
 Ах, устали милой ножки!

Прелесть толстая моя!
 Уж домой ты, ради бога,
 Не ходи пешком; фиакров
 У заставы очень много.

13. СВИДАНИЕ

Беседка... Жимолость... В сумраке сада
 Опять у окна мы в тиши запустенья.
 Выходила луна, струилась прохлада,
 Лишь мы были с нею, как два привиденья.

Двенадцать лет уж прожито нами,
 С тех пор как здесь мы вдвоем сидели;
 И нежный пыл и жаркое пламя
 За этот срок остыть успели.

Я молча сидел. Говорунья пустая,
 Болтала она между тем, то и дело
 Остывший пепел любви разгребая,
 Хоть искорки в нем ни единой не тлело.

О том, как соблазны она побеждала,
 Я слушал рассказ докучливо-длинный, —
 Как шатка ее добродетель бывала...
 Состроил при этом я глупую мину.

Я вскоре уехал. В полях замелькали,
 Как духи, луной озаренные ели.
 Мне слышались зовы тоски и печали...
 Но мы с мертвецами стремглав летели.

14. ГОСПОЖА ЗАБОТА

Тогда, в дни солнечной поры,
Как тут отплясывали комары!
Мне другом каждый был в те дни:
Со мной по-братски все они
Делились моей котлетой,
Моей последней монетой.

Но счастье — прочь; карман мой пуст.
И ни друзей, ни братских чувств.
Затмилось солнце той поры, —
Ни комаров, ни их игры.
Друзья с комарами схожи:
Ушли со счастьем тоже.

Забота у койки моей — точь-в-точь
Сиделка — всю проводит ночь.
Белешая кофта, черный колпак,
Сидит и нюхает свой табак.
Скрипит табакерка сухо, —
Противная старуха!

Мне снится юный май порой,
Былое счастье, комариный рой,
Беспечный смех друзей и подруг...
Но, боже, скрипит табакерка вдруг,
Пузырь мой лопнул мыльный —
Старуха сморкнулась сильно.

15. К АНГЕЛАМ

То грозный всадник Танатос,
Коня он шпорит под откос;
Я слышу топот, слышу скок,
Летит, нагнал меня ездок,
Схватил и мчит. Ах, мысль моя мутится,
С Матильдою судьба велит проститься,

Мое дитя, жена моя,
Когда тебя покину я,
Ты здесь, оставленная мной,
Вдовою станешь, сиротой,
Жена-дитя, что мирно так бывало
У сердца моего опочивала.

Вы, духи светлые в раю,
Услышите плач, мольбу мою:
От зол, от бед и темных сил
Храните ту, что я любил;
Свой щит, свой меч над нею вы прострите,
Сестру свою, Матильду, защитите.

Во имя слез, что столько раз
Роняли вы, скорбя по нас,
Во имя слова, что в сердцах
Священников рождает страх,
Во имя благости, что вы таите,
Взываю к вам: Матильду защитите.

16. В ОКТЯБРЕ 1849

Опять у нас и тишь и гладь,
Была гроза такой недолгой;
В сочельник тешится опять
Германия — большой ребенок — елкой.

Нам — счастье лишь одно закон:
Семья, — а все, что выше — ересь.
Вновь голубь мира под фронтоном
Вернулся, в безопасности уверясь.

Леса и реки сон сковал,
И лунный свет их залил нежный.
Но — треск! Иль выстрел прозвучал?
Быть может, там расстрелян друг мятежный?

Ведь мог с оружием в руках
Безумец на врагов нарваться!

(Не каждый искушен в бегах,
Как искушен был славный Флакк Гораций.)

Треск, треск! В честь Гёте торжества?
Иль перед Зонтаг — в знак привета —
(Ведь лира старая жива!)
Слезами рассыпается ракета?

И Лист — он выплыл жив и здоров,
Он под родным венгерским небом,
На поле брани не попав,
Убит ни русским ни кроатом не был.

В крови вся Венгрия, и форт
Последний отдала свобода, —
Но рыцарь Франц — он цел и горд, —
Он держит шпагу в тайниках комода.

Он жив, наш Франц! Под старость лет
Он соберет внучат ватагу
И станет хвастать, храбрый дед:
«Так я лежал и так держал я шпагу!..»

При слове «Венгрия» — мне мой
Камзол немецкий тесен, грубый.
Под ним ревет морской прибой,
Я будто слышу боевые трубы.

В душе опять, как зов судьбы,
Напевы древних саг воскресли;
Железный, буйный гимн борьбы
И гибель Нибелунгов в этой песне.

Судьба героев все одна —
В седых сказаньях, в были свежей.
Изменены лишь имена,
Но «богатырский дух» все тот — медвежий.

О древний рок! Все тот же он.
 Как реяли знамен полотна!
 А все ж герой — таков закон —
 Повержен грубой силою животной.

К тому еще и бык теперь
 Вступил с медведем в соглашенье.
 Ты пал, мадьяр, — утешься, верь:
 Мы худшие терпели униженья.

Тебя сразил солидный скот,
 Но этот гнет, как он ни тяжек,
 Не так обиден. Нас гнетет
 Ярмо волков, свиной, простых дворняжек.

Вой, хрюк и лай — терпенья нет, —
 Дух победителей повсюду!
 Помалкивай, больной поэт:
 Так здоровей, иначе будет худо!

17. ДУРНЫЕ СНЫ

Во сне я был и юн и весел снова.
 Вот сельский домик наш, обрыв под ним,
 Вот по тропинке с берега крутого
 С Оттилией мы взапуски бежим.

Как сложена! Как сладостно мигают
 Ее русалочки глаза порой!
 И ножкой крепко так она ступает,
 Вся — сочетанье силы с красотой.

Звук голоса так чист и так сердечен,
 Что кажется: сама душа поет,
 А тон ее речей умом отмечен;
 Бутону роз подобен алый рот,

И вовсе не любовью я взволнован,
Не в грезах я и не в чаду страстей;
Но странно так малюткой очарован,
Целую с тайной дрожью руку ей.

Мне помнится: склонившись над водою
И лилию сорвав, я ей сказал:
«Возьми цветок и будь моей женою,
Чтоб кротким я, как ты, — счастливым стал».

Но что ответила она, — не знаю.
Я вдруг проснулся... Вижу: брезжит свет,
И снова — комната, где я, страдая,
Лежу, неизлечимый, столько лет.

18. ОНА УГАСЛА

Спектакль окончен. По домам
Мужчины провожают дам.
По вкусу ль пьеса им? Наверно:
Я слышал — хлопали усердно.

Высокочитимой публикой
Отмечен был успех поэта.
Теперь театр пустой такой —
Ни оживления, ни света.

Но, чу! Раздался резкий звук
У самой сцены — треск удара.
Быть может, лопнула там вдруг
Струна на чьей-то скрипке старой?

Уж крысы злобные снуют
В партере темном там и тут.
Чадит в последней лампе масло,
Все пахнет горечью сейчас.
И вот — огонь, шипя, угас.
Ах, то моя душа угасла!

19. ДУХОВНАЯ

Близок мой конец. Итак —
Вот моей духовной акт:
В нем по-христиански щедро
Награжден мой каждый недруг.

Вам, кто всех честней, любезней,
Добродетельнейшим снобам, —
Вам оставлю, твердолобым,
Весь комплект моих болезней:

Колики, что, словно клещи,
Рвут мои кишки все резче,
Мочевой канал мой узкий,
Гнусный геморой мой прусский.

Эти судороги — тоже,
Спазмы, течь мою слюнную
И сухотку вам спинную
Завещаю волей божьей.

К сей духовной примечанье:
Пусть о вас навек всеместно
Вытравит отец небесный
Всякое воспоминанье!

20. ENFANT PERDU

В войне свободы тридцать лет держался
Я на посту заброшенном моем.
Я, не надеясь победить, сражался,
Знал — невредимым не вернусь в свой дом.

Мои друзья все спали по палаткам,
Я — день и ночь уснуть не мог никак
(Чуть клонешь носом, поступаясь порядком,
Тебя разбудит храп лихих вояк).

Грусть да и страх порою сердце стиснут
(Неведом вовсе страх лишь дуракам) —
Я рифмой сатирической как свистну,
Так снова бодр, назло моим врагам.

Весь начеку, ружье — наизготовку, —
И лишь врага заметит зоркий взгляд,
Нацелюсь в брюхо подлое и ловко
Всажу в него горячий свой заряд.

Но все-таки случалось иногда ведь,
Что негодяй и сам владеть ружьем
Умел неплохо... — Ах, зачем лукавить?
Я весь изранен, кровь течет ручьем.

Я весь в крови. Боец на смену нужен!
Один сражен, другие уж близки...
Нет, я не побежден, не разоружен,
Ружье в порядке, сердце лишь — в куски!



КНИГА ТРЕТЬЯ

ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

О, пусть не без утех земных
Жизнь твоя протекает!
И если ты стрел не боишься ничьих,
Пускай — кто хочет — стреляет.

А счастье — мелькнет оно пред тобой —
Хватай за полу проворно!
Совет мой: в долине ты хижину строй,
Не на вершине горной.

ПРИНЦЕССА ШАБАШ

Видим мы в арабских сказках,
Что в обличии зверином
Ходят часто чародеем
Заколдованные принцы.

Но бывают дни — и принцы
Принимают прежний образ:
Принц волочится и дамам
Серенады распевает.

Все до часа рокового;
А настанет он — мгновенно
Светлый принц четвероногим
Снова делается зверем.

Днесь воспеть такого принца
Я намерен. Он зовется
Израилем и в собаку
Злою ведьмой обращен.

Всю неделю по-собачьи
Он и чувствует и мыслит,
Грязный шляется и смрадный,
На позор и смех мальчишкам.

Но лишь пятница минует,
Принц становится, как прежде,
Человеком, выходя
Из своей собачьей шкуры.

Мыслит, чувствует, как люди;
Гордо, с поднятой главою
И разряженный вступает
Он в отцовские чертоги:

«Прародительские сени! —
Их приветствует он нежно, —
Дом Иаковлев! Целую
Прах порога твоего!»

По чертогам пробегает
Легкий шопот и движенье;
Дышит явственно в тиши
Сам невидимый хозяин.

Лишь великий сенешал
(Vulgo, служка в синагоге)
Лазит вверх и вниз поспешно,
В храме лампы зажигая.

Лампы — светочи надежды!
Как горят они и блещут!
Ярко светят также свечи
На помосте альмемора.

И уже перед ковчегом,
Занавешенным покровом
С драгоценными камнями
И в себе хранящем Тору,

Занимает место кантор,
Пренарядный человек;
Черный плащик свой на плечи
Он кокетливо накинул,

Белой ручкой щеголяя,
Потрепал себя по шее,
Перст к виску прижал, большим же
Пальцем горло расправляет.

Трели он пускает тихо;
Но потом, как вдохновенный,
Возглашает громогласно:
«Лехо дауди ликрас калле!

О, гряди, жених желанный,
Ждет тебя твоя невеста —
Та, которая откроеет
Для тебя стыдливый лик!»

Этот чудный стих венчальный
Сочинен был знаменитым
Миннезингером великим,
Дон Иегудой бен-Галеви.

В этом гимне он воспел
Обрученье Израиля
С царственной принцессой Шабаш,
По прозванью Молчаливой.

Перл и цвет красот вселенной
Эта чудная принцесса!
Что тут Савская царица,
Соломонова подруга,

Эфиопская педантка,
Что умом блистать старалась
И загадками своими
Наконец уж надоела!

Нет! Принцесса Шабаш — это
Сам покой и ненавидит
Суемудренные битвы
И ученые дебаты;

Ненавидит этот дикий
Пафос страстных декламаций,
Искры сыплющий и бурно
Потрясающий власами.

Под чепец свой скромно прячет
Косы тихая принцесса,
Смотрит кротко, как газель,
Станом стройная, как аддас.

И возлюбленному принцу
Дозволяет все, но только —
Не курить: «Курить в субботу
Запрещает нам закон.

Но зато, мой милый, нынче
Ты продушишься взамен
Чудным кушаньем: ты будешь
Нынче шалет, друг мой, кушать». —

«Шалет — божеская искра,
Сын Элизия!» — запел бы
Шиллер в песне вдохновенной,
Если б шалета вкусил.

Он — божественное блюдо;
Сам всевышний Моисея
Научил его готовить
На горе Синайской, где

Он открыл ему попутно,
Под громовые раскаты,
Веры истинной ученье —
Десять заповедей вечных.

Шалет — истинного бога
Чистая амброзия,
И в сравненьи с этой снедию
Представляется вонючей

Та амброзия, которой
Услаждались лжебоги
Древних греков, — те, что были
Маскированные черти.

Вот наш принц вкушает шалет;
Взор блаженством засветился.
Он жилетку расстегнул
И лепечет, улыбаясь:

«То не шум ли Иордана,
Не журчанье ль струй студеных
Под навесом пальм Бет-Эля,
Где верблюды отдыхают?»

Не овец ли тонкорунных
Колокольчики лепечут?
Не с вершин ли Гилеата
На ночь сходят в дол барашки?»

Но уж день склонился. Тени
Удлиняются. Подходит
Исполинскими шагами
Срок ужасный. Принц вздыхает.

Точно хладными перстами.
Ведьмы за сердце берут.
Предстоит метаморфоза —
Превращение в собаку.

Принцу милому подносит
Нарду тихая принцесса;
Раз еще вдохнуть спешит он
Этот запах благовонный;

И с питьем прощальным кубок
Вслед затем она подносит;
Пьет он жадно, — две-три капли
Остаются лишь на дне.

И кропит он ими стол;
К брызгам свечку восковую
Приближает, — и с шипеньем
Гаснет грустная свеча.

ИЕГУДА БЕН-ГАЛЕВИ

(Фрагмент)

I

«Да прилипнет в жажде к небу
Мой язык и да отсохнут
Руки, если я забуду
Храм твой, Иерусалим»...

Песни, образы так бурно
В голове моей теснятся,
Чудятся мужские хоры,
Хоровые псалмопенья.

Вижу бороды седые,
Бороды печальных старцев...
Призраки, да кто ж из вас
Иегуда бен-Галеви?

Прошмыгнув, они исчезли;
Робких призраков пугает
Грубый оклик земнородных...
Но его-то я узнал,

Да, узнал по древней скорби
Лба, отмеченного мыслью,
По глазам проникновенным
И страдальчески пытливым...

Но и без того узнал бы
По загадочной улыбке
Губ, срифмованных так дивно,
Как доступно лишь поэтам.

Год приходит, год проходит;
От рожденья Иегуды
Бен-Галеви пролетело
Семь столетий с половиной.

В первый раз увидел свет
Он в Кастилии, в Толедо, —
Был младенцу колыбельной
Говор Тахо золотого.

Рано стал отец суровый
Развивать в ребенке мудрость,
Обученье началось
С божьей книги, с вечной Торы.

Сыну мудро толковал он
Древний текст, чей живописный,
Иероглифам подобный,
Завитой квадратный шрифт,

Этот чудный шрифт халдейский
Создан в детстве нашим миром

И улыбкой нежной дружбы
Сердце детское встречает.

Тексты подлинников древних
Заучил в цитатах мальчик,
Повторял старинных тропов
Монотонные напевы

И картавил так прелестно,
С легким горловым акцентом,
Тонко выводил шалшелет,
Щелкал трели, словно птица.

Также Таргум Онкелос,
Что написан на народном
Иудейском диалекте, —
Он зовется арамейским

И примерно так походит
На язык святых пророков,
Словно швабский на немецкий.
Этот желтоцвет еврейский

Тоже выучил ребенок,
И свои познанья вскоре
Превосходно применил он
В изучении Талмуда.

Да, родитель очень рано
Ввел его в Талмуд, а после —
И в великую Галаху,
В эту школу фехтованья,

Где риторики светила —
Первоклассные атлеты
Вавилона, Пумпедиты
Упражнялись в состязаньях.

Здесь ребенок изощрился
В полемическом искусстве, —

Этим мастерством словесным
Позже он блеснул в «Козари».

Но, как небо льет на землю
Два различных рода света:
Яркий свет дневного солнца,
Нежный свет ночной луны —

Так двояко светит Талмуд,
Оттого его и делят
На Галаху и Агаду.
Первую назвал я школой

Фехтованья, а вторую
Назову, пожалуй, садом,
Садом странно-фантастичным,
Двойником другого сада,

Порожденного когда-то
Тоже почвой Вавилона:
Это сад Семирамиды,
Иль восьмое чудо света.

Дочь царей Семирамиду
Воспитали в детстве птицы,
И царица сохранила
Целый ряд привычек птичьих:

Не хотела променады
Делать по земле, как все мы,
Млеком вскормленные твари,
И взрастила сад воздушный, —

Высоко на колоссальных
Колоннадах заблестали
Клумбы, пальмы, апельсины,
Изваянья, водометы —

Скреплены хитро и прочно,
Как плющом переплетенным,

Сетью из мостов висячих,
Где качались важно птицы,

Пестрые, большие птицы,
Мудрецы, что молча мыслят,
Глядя, как с веселой трелью
Подле них порхает чижик.

Все блаженно пьют прозрачный,
Как бальзам, душистый воздух,
Не отравленный зловонным
Испарением земли.

Да, Агада — сад воздушный
Детских вымыслов, и часто
Юный ученик Талмуда,
Если сердце, запыхавшись,

Глохло от сварливой брани
И от диспутов Галахи,
Споров о яйце фатальном,
Что снесла наседка в праздник,

Иль от столь же мудрых прений
По другим вопросам, — мальчик
Убегал, чтоб освежиться
В сад, в цветущий сад Агады,

Где так много старых сказок,
Подлинных чудесных былей,
Житий мучеников славных,
Песен, мудрых изречений,

Небылиц таких забавных,
Полных чистой пылкой веры.
О, как все блистало, пело,
Расцветало в пышном блеске!

И невинный, благородный
Дух ребенка был захвачен

Буйной дерзостью фантазий,
Волшебством блаженной скорби,

Страстным трепетом восторга,
Тем волшебным тайным миром,
Тем великим откровеньем,
Что поэзией зовется.

И поэзии искусство,
Высший дар, святое знание,
Мастерство стихосложения
Сердцу мальчика открылось.

И Иегуда бен-Галеви
Стал не только мудрый книжник,
Но и мастер песнопенья,
Но и первый из поэтов.

Да, он дивным был поэтом,
Был звездой своей эпохи,
Солнцем своего народа, —
И огромным, чудотворным

Огненным столпом искусства
Он пред караваном скорби,
Пред Израилем-страдальцем,
Шел пустынями изгнания.

Песнь его была правдива
И чиста и непорочна,
Как душа его, — всевышний,
Сотворив такую душу,

Сам собою был доволен,
И прекраснейшую душу
Радостно поцеловал он,
И трепещет тихий отзвук

Поцелуя в каждой песне,
В каждом слове песнотворца,

Посвященного с рожденья
Божьей милостью в поэты.

Ведь в поэзии, как в жизни,
Высший дар для смертных — благодать.
Кто снискал ее — не может
Ни в стихах грешить, ни в прозе.

Называем мы такого
Божьей милостью поэта
Гением; он в царстве духа
Абсолютный самодержец.

Он дает ответ лишь богу,
Не народу. Ведь в искусстве
Нас народ, как в жизни, может
Лишь казнить, но не судить.

II

«Так на реках вавилонских
Мы рыдали, наши арфы
Прислонив к плакучим ивам» —
Помнишь песню древних дней?

Помнишь, — старое сказанье
Стонет, плачет элегично,
Ноет, словно суп в кастрюльке,
Что кипит на очаге!

Сотни лет во мне клокочет,
Скорбь во мне кипит! А время
Лижет рану, словно пес,
Иову лизавший язвы.

Пес мой, за слюну спасибо —
Но она лишь охлаждает;
Мне целенье дать могла бы
Смерть, но я, увь, бессмертен!

Год приходит, год проходит!
Деловито ходит шпудляка

На станке, а что он ткёт —
Ни единый ткач не знает.

Год приходит, год проходит, — .
Человеческие слезы
Льются, капают на землю,
И земля сосет их жадно.

Ах, как бешено кипит!
Скачет крышка! — Слава мужу,
Чья рука твоих младенцев
Гневно разможжит о скалы.

Слава господу! Все тише
Котелок клокочет. Смолк.
Мой угрюмый сплин проходит,
Западно-восточный сплин.

Ну, и мой конек крылатый
Ржет бодрее, отряхает
Злой ночной кошмар и, мнится,
Молвит умными глазами:

«Что ж, опять летим в Толедо
К маленькому талмудисту,
Что великим стал поэтом,
К Иегуде бен-Галеви?»

Да, великий был поэт он,
Самодержец в мире грезы,
Властелин над царством духов,
Божьей милостью поэт.

Он в священные сирвенты,
Мадригалы и терцины,
Канцонеты и газеллы
Влил огонь души, согретой

Светлым поцелуем бога!
Да, поистине, был равен
Этот трубадур великий
Несравненным песнотворцам

Руссильона и Прованса,
Пуату и прочих славных
Померанцевых владений
Царства христиан галантных.

Царства христиан галантных
Померанцевые земли!
Их цветеньем, блеском, звоном
Скрашен мрак воспоминаний!

Дивный соловьиный мир!
Вместо истинного бога —
Ложный бог любви да музыки —
Вот кому тогда молились!

Розами венчая плечи,
Клирики псалмы там пели
На веселом лангедоке.
А мирянин, знатный рыцарь,

На коне гарцуя гордо,
В стихотворных выкрутасах
Славил даму, чьим красотам
Радостно служил он сердцем

Нет любви без дамы сердца!
Ну, а уж певец любви,
Миннезингер, тот без дамы,
Что без масла бутерброд!

И герой, воспетый нами,
Иегуда бен-Галеви,
Увлечен был дамой сердца,
Но совсем особой дамой.

Не Лаурой, чьи глаза,
Эти смертные созвездья,
На Страстной зажгли во храме
Знаменитейший пожар!

Не нарядной герцогиней
В блеске юности прекрасной,
Королевою турниров,
Присуждавшей храбрым лавры,

Не постельной казуисткой,
Поцелуйным крючкотвором,
Доктринолухом, ученым
В академиях любви, —

Нет, возлюбленная рабви
В жалкой нищете томилась,
В лютой скорби разрушенья
И звалась: Иерусалим.

С юных лет в ней воплотилась
Вся его любовь и вера,
Приводило душу в трепет
Слово «Иерусалим».

Весь пунцовый от волненья,
Замирая, слушал мальчик
Пилигрима, что в Толедо
Прибыл из восточных стран

И рассказывал, как древний
Город стал пустыней дикой,
Город, где в песке донныне
Пламенеет след пророка,

Где дыханьем вечным бога,
Как бальзамом, полон воздух.

«О юдоль печали!» — вскрикнул
Пилигрим, чья борода

Белым серебром струилась,
А у корня каждый волос
Черен был, как будто сверху
Борода омоложалась, —

Странный был он пилигрим;
Вековая скорбь глядела
Из печальных глаз, и горько
Он вздыхал: «Иерусалим!

Ты, людьми обильный город,
Стал пустынею, где грифы,
Где гиены и шакалы
В гнили мерзостно пируют,

Где гнездятся змеи, совы
Средь покинутых развалин,
Где лиса глядит спесиво
Из разбитого окошка

Да порой, в тряпье одетый,
Бродит нищий раб пустыни
И пасет в траве высокой
Худосочного верблюда.

На Сионе многославном,
Где твердыня золотая
Гордым блеском говорила
О величье властелина, —

Там, поросшие бурьяном,
Тлеют горами обломки
И глядят на нас так скорбно,
Так тоскливо, будто плачут.

Ах, они и вправду плачут,
Раз в году рыдают камни —
В месяц аба, в день девятый, —
И рыдая сам глядел я,

Как из грубых диких камней
Слезы тяжкие катились,
Слышал, как колонны храма
В прахе горестно стонали.

Слушал речи пилигрима
Юным сердцем Иегуда
И проникся жаждой страстной
Путь свершить в Иерусалим.

Страсть поэта! Роковая
Власть мечтаний и предчувствий,
Чью святую мощь изведал
В замке Блей видам прекрасный,

Жофруа Рудель, услышав,
Как пришедшие с востока
Рыцари при звоне кубков
Громогласно восклицали:

«Цвет невинности и чести,
Перл и украшенья женщин —
Дева-роза Мелисанда,
Маркграфиня Триполи!»

Размечтался трубадур наш
И запел о юной даме
И почувствовал, что сердцу
Стало тесно в замке Блей,

И его тоска погнала.
К Цетте он поплыл, но в море

Тяжко заболел и прибыл,
Умирая, в Триполи.

Там увидел Мелисанду
Он телесными очами,
Но тотчас же злая смерть
Их закрыла мрачной тенью.

И в последний раз запел он,
И, не кончив песню, мертвый,
Пал к ногам прекрасной дамы
Мелисанды Триполи.

Как таинственно и дивно
Сходны судьбы двух поэтов,
Хоть второй лишь мудрым старцем
Совершил свой путь великий!

И Иегуда бен-Галеви
Принял смерть у ног любимой,
Преклонил главу седую
У колен Иерусалима.

III

После битвы при Арбеллах
Юный Александр Великий
Земли Дария и войско,
Двор, гарем, слонов и женщин,

Деньги, скипетр и корону —
Золотую дребедень —
Все набил в свои большие
Македонские шальвары.

Дарий, тот удрал от страха,
Как бы в них не сесть своею
Высочайшею персоной.
И герой в его шатре

Захватил чудесный ларчик,
Золотой, в миниатюрах,
Инкрустированный тонко
Самоцветными камнями.

Был тот ларчик сам бесценен,
А служил лишь для хранения
Драгоценностей короны,
Разных царских лейб-сокровищ.

Александр их раздарил
Самым храбрым и смеялся,
Что мужчины, словно дети,
Рады пестрым побрякушкам.

Драгоценнейшую гемму
Милой матери послал он —
И кольцо с печатью Кира
Стало просто дамской брошкой.

Ну, а старый Аристотель,
Дерзко отхлеставший розгой
Всю вселенную, в подарок
Для коллекции диковин

Получил огромный оникс.
В ларчике имелись перлы,
Нить жемчужин, что Атоссе
Подарил фальшивый Смердис —

Жемчуг был ведь настоящий! —
И веселый победитель
Отдал их прекрасной Таис,
Танцовщице из Коринфа.

Та, украсив жемчугами
Волосы, — их, как вакханка,
Распустила в ночь пожара,
В Персеполисе танцуя,

И швырнула в царский замок
Факел свой, и с громким треском
Яростно взметнулось пламя
Карнавальным фейерверком.

После смерти юной Таис,
Что погибла в Вавилоне
От болезни вавилонской,
Перлы были в зале биржи

Пущены с аукциона, —
И купил их жрец мемфисский
И увез их в свой Египет,
Где они явились позже

В шифоньерке Клеопатры,
Что толкла прекрасный жемчуг
И, с вином смешав, глотала,
Чтоб Антония дурачить.

А с последним Омайядом
Перлы прибыли в Гренаду
И блистали на тюрбане
Кордованского калифа.

Третий Абдергам украсил
Ими панцырь на турнире,
Где пронзил он тридцать колец
И Зюлеймы юной сердце.

Но с паденьем царства мавров
Перешли и эти перлы
Во владенье христиан,
Властелинов двух Кастилий,

Католических величеств,
И испанских государынь

Украшали на турнирах,
На придворных играх, в цирке,

В шествиях, в ауто-да-фе,
Где величества с балконов
Наслаждались ароматом
Старых жареных евреев.

Правнук чорта Мендицабель
Заложил потом все перлы
Для покрытия дефицита
В государевых финансах.

В Тюильри, в дворцовых залах,
Вновь на свет они явились
И сверкали там на шее
Баронессы Саломон.

Вот судьба прекрасных перлов!
Ларчик меньше приключений
Испытал, — его оставил
Юный Александр себе.

И в него он запер песни
Бесподобного Гомера,
Своего любимца. На ночь
Ставил он у изголовья

Этот ларчик, и оттуда,
Чуть заснет король, вставали,
Тихо в сон его скользили
Образы героев светлых.

Век иной, иные птицы!
— Ах, и я любил когда-то
Эти песни о деяньях
Пелиада, Одиссея.

И в душе моей, как солнце,
Рдели золото и пурпур,
Виноград влетел в кудри,
И ликуя пели трубы.

Смолкни, память! — Колесница
Триумфальная разбита,
А пантеры упряжные
Передохли все, как девы,

Что под трубы и кимвалы
В пляске шли за мной, и сам я
Извиваюсь в адских муках,
Лежа в прахе, — смолкни, память!

Смолкни, память! — Речь вели
Мы о ларчике царевом,
И такая мысль пришла мне:
Будь моим подобный ларчик,

Не заставь меня финансы
Обратить его в монету, —
Я бы запер в этот ларчик
Золотые песни рабби

Иегуды бен-Галеви,
Гимны радости, газеллы,
Песни скорби, путевые
Впечатленья пилигрима, —

Дал бы лучшему цофару
На пергаменте чистейшем
Их списать и положил бы
Рукопись в чудесный ларчик

И держал бы этот ларчик
На столе перед кроватью,
Чтоб могли дивиться гости
Блеску маленькой шкатулки,

Превосходным барельефам,
Мелким, но таким прекрасным,
Инкрустациям чудесным
Из огромных самоцветов.

Я б гостям с улыбкой молвил:
Это что! — лишь оболочка
Лучшего из всех сокровищ —
Там сияют бриллианты,

Отражающие небо,
Там рубины пламенеют
Кровью трепетного сердца,
Там смарагды обещанья,

Непорочные лазури,
Перлы, краше дивных перлов,
Лживым Смердисом когда-то
Принесенных в дар Атоссе,

Бывших лучшим украшеньем
Вышей знати в этом мире,
Обегаемом луною:
Юной Таис, Клеопатры,

И жрецов, и грозных мавров,
И испанских государынь,
И самой высокочтимой
Баронессы Саломон.

Те прославленные перлы —
Только сгустки бледной слизи,
Выделенья жалких устриц,
Тупо прозябавших в море.

Мною ж собранные перлы
Рождены душой прекрасной,
Светлым духом, чьи глубины
Глубже бездны океана,

Ибо эти перлы — слезы
Иегуды бен-Галеви,
Ими горько он оплакал
Гибель Иерусалима.

И связал он перлы-слезы
Золотою ниткой рифмы,
В ювелирне стихотворства
Сделал песнью драгоценной.

И доныне эта песня,
Этот плач великой скорби
Из рассеянных по свету
Авраамовых шатров

Горько льется в месяц аба,
В день девятый, в годовщину
Гибели Иерусалима,
Уничтоженного Титом.

Эта песня — гимн Сионский
Иегуды бен-Галеви,
Плач предсмертный над священным
Пеплом Иерусалима.

В покаянной власянице,
Босоногий, там сидел он
На поверженной колонне;
И густой седою чащей

Волосы на грудь спадали,
Фантастично оттеняя
Бледный, скорбный лик поэта
С вдохновенными очами, —

Так сидел он там и пел,
Словно древний ясновидец,

И, казалось, из могилы
Встал пророк Иеремия.

И в руинах смолкли птицы,
Слыша вопли дикой скорби,
Даже коршуны, приблизясь,
Им внимали с состраданьем.

Вдруг, на стременах качаясь,
Мимо, на коне огромном,
Дикий сарацин промчался,
Белое копьё колебля, —

И, метнув оружие смерти
В грудь несчастного поэта,
Ускакал быстрее ветра,
Словно призрак окрыленный.

Кровь певца текла спокойно,
И спокойно песню скорби
Он допел, и был предсмертный
Вздых его: «Иерусалим!»

Молвит старое сказанье,
Что жестокий сарацин
Был не человек преступный,
А переодетый ангел,

Посланный на землю небом,
Чтоб унести любимца бога
Из юдоли слез, без муки
Взять его в страну блаженных.

В небе был он удостоен
Крайне лестного приема, —
Это был сюрприз небесный,
Драгоценный для поэта.

Хоры ангелов навстречу
Вышли с музыкой и пеньем,
И в торжественном их гимне
Он узнал свою же песню, —

Брачный гимн синагогальный,
Гимн субботний Гименею,
Строй ликующих мелодий,
Всем знакомых — что за звуки!

Ангелы трубили в трубы,
Ангелы на скрипках цели,
Ликовали на виолах,
Били в бубны и кимвалы.

И в лазурных безднах неба
Так приветливо звенело,
Так приветливо звучало:
«Лехо дауди ликрас калле».

IV

Рассердил мою супругу
Я последнею главой,
А особенно рассказом
Про бесценный царский ларчик.

Чуть не с горечью она мне
Заявила, что супруг,
Подлинно религиозный,
Обратил бы ларчик в деньги,

Что на них он приобрел бы
Для своей жены законной
Белый кашемир, который
Нужен бедной дозарезу;

Что с Иегуды бен-Галеви
Было бы довольно чести

Сохраняться просто в папке
Из красивого картона,

По-китайски элегантно
Разрисованной узором,
Вроде чудных бонбоньерок
Из пассажа «Панорама».

«Странно! — вскрикнула супруга, —
Если он такой уж гений,
Почему мне незнакомо
Даже имя бен-Галеви?»

— Милый друг мой, — отвечал я, —
Ангел мой, прелестный неуч,
Это результат пробелов
Во французском воспитанье.

В пансионах, где девицам,
Этим будущим мамашам
Вольного народа галлов,
Преподносят мудрость мира:

Чучела владык Египта,
Сотни старых мумий, тени
Меровингских властелинов
С ненапудренною гривой,

Косы кайзеров Китая,
Царства пагод из фарфора, —
Всё зубрить там заставляют
Умных девочек — но, боже! —

Назови-ка им поэта,
Гордость золотого века
Всей испано-мавританской
Старой иудейской школы,

Назови им Ибен Эзру,
Иегуду бен-Галеви,
Саломона Габироля —
Триединое созвездье,

Назови другое имя,
Сразу милые малютки
Сделают глаза большие,
И найдет коса на камень.

Мой тебе совет, голубка,
Чтоб такой пробел заполнить,
Позаймись-ка ты еврейским —
Брось театры и концерты,

Посвяти годок иль больше
Неустанной штудировке,
И прочтешь в оригинале
Ибен Эзру, Габироля

И, понятно, бен-Галеви, —
Весь триумвират поэтов,
Что с волшебных струн Давида
Лучшие похитил звуки.

Аль-Харизи — я ручаюсь,
Он тебе знаком не больше,
А ведь он остряк французский! —
Он переострил Гарири

В хитроумнейших макамах
И задолго до Вольтера
Был чистейшим вольтерьянцем, —
Этот Аль-Харизи пишет:

«Габироль — властитель мысли,
Он мыслителям любезен,
Ибен Эзра — царь искусства,
Он художников любимец,

Но достоинства обоих
Сочетал в себе Галеви:
Величайший из поэтов,
Стал он всех людей кумиром».

Ибен Эзра был старинный
Друг, — быть может, даже родич
Иегуды бен-Галеви,
И Галеви в книге странствий

С болью пишет, что напрасно
Он искал в Гренаде друга,
Что нашел он только брата,
Рабби Мейера, врача,

И к тому же стихотворца
И отца прекрасной девы,
Заронившей безнадежный
Пламень страсти в сердце Эзры.

Чтоб забыть свою красотку
Взял он страннический посох,
Стал, как многие коллеги,
Жить без родины, без крова.

На пути к Иерусалиму
Был татарами он схвачен
И, привязанный к кобыле,
Унесен в чужие степи.

Там впрягли беднягу в службу,
Недостойную раввина,
А тем более поэта:
Начал он доить коров.

Раз на корточках сидел он
Под коровой и усердно
Вымя теребил, чтоб в крынку
Вытекало молоко —

Не почетное занятие
Для раввина, для поэта, —
Вдруг, охвачен страшной скорбью,
Песню он запел, и пел он

Так прекрасно, так печально,
Что случайно шедший мимо
Хан татарский был растроган
И вернул рабу свободу.

Много дал ему подарков,
Лисью шубу и большую
Сарацинскую гитару,
Выдал денег на дорогу.

Злобный рок, судьба поэта!
Всех потомков Аполлона
Истерзала ты и даже
Их отца не пощадила.

Ведь, догнав красотку Дафну,
Не нагое тело нимфы,
А лавровый куст он обнял —
Он, божественный Шлемиль.

Да, сиятельный дельфиец
Был Шлемиль, и даже в лаврах,
Гордо увенчавших бога, —
Признак божьего шлемильства.

Слово самое «Шлемиль»
Нам понятно. Ведь Шамиссо
Даже в Пруссии гражданство
Дал ему (конечно, слову).

И осталось неизвестным,
Как исток святого Нила,
Лишь его происхождение;
Долго я над ним мудрил,

А потом пошел за справкой,
Много лет назад в Берлине,
К другу нашему Шамиссо,
К обер-шефу всех Шлемилей.

Но и тот не мог ответить
И на Гицига сослался,
От которого узнал он
Имя Петера без тени

И фамилию. Я тотчас
Дрожки взял и покатыл
К Гицигу, — сей криминальрат
Прежде звался просто Ициг...

И когда он звался Ициг,
Раз ему приснилось небо
И на небе надпись: Гициг,
То есть — Ициг с буквой Г.

«Что тут может значить Г?» —
Стал он размышлять: — «Герр Ициг
Или горний Ициг? Горний —
Титул славный, но в Берлине

Неуместный». — Поразмыслив,
Он решил назваться: Гициг,
Лишь друзьям шепнув, что горний
В Гициге сидит святой.

«Гициг пресвятой! — сказал я,
Познакомься, — вы должны мне
Объяснить языковые
Корни имени Шлемиль».

Долго мой святой хитрил,
Все не мог припомнить, много
Находил уверток, клялся
Иисусом, — наконец,

От моих штанов терпенья
Отлетели все застежки,
И пошел я тут ругаться,
Изощряться в богохульстве,

Так что пиетист почтенный
Побледнел, как труп, затрясся,
Перестал мне прекословить
И повел такой рассказ:

«В Библии прочесть мы можем,
Что частенько в дни скитаний
Наш Израиль утешался
С дочерьми Канаанитов.

И случилось, — Пинхас Сая
Увидал, как славный Зимри
Мерзкий блуд свершал с женою
Из колена Канаана,

И тотчас же, в лютом гневe,
Он схватил копьe и Зимри
Умертвил на месте блуда.
Так мы в Библии читаем.

Но из уст в уста в народе
С той поры передается,
Что своим оружьем Пинхас
Поразил совсем не Зимри

И что, гневом ослепленный,
Вместо грешника убил он
Неповинного. Убитый
Был Шлемиль бен-Цури-Шаддай».

Этим-то Шлемилом Первым
Начат был весь род Шлемилей.

Наш родоначальник славный
Был Шлемиль бен-Цури-Шаддай.

Он, конечно, не прославлен
Доблестью, мы только знаем
Прозвище, да нам известно,
Что бедняга был Шлемилем.

Но ведь родовое древо
Ценно не плодом хорошим,
А лишь возрастом — так наше
Старше трех тысячелетий!

Год приходит, год проходит;
Больше трех тысячелетий
Как погиб наш прародитель,
Герр Шлемиль бен-Цури-Шаддай.

Уж давно и Пинхас умер,
Но копье его донныне
Нам грозит, всегда мы слышим,
Как свистит оно над нами.

И оно сражает лучших —
Как Иегуда бен-Галеви,
Им сражен был Ибен Эзра,
Им сражен был Габироль,

Габироль — наш миннезингер,
Посвятивший сердце богу,
Соловей благочестивый,
Чьею розой был всевышний, —

Чистый соловей, так нежно
Пел он песнь любви великой
Средь готического мрака,
В тьме средневековой ночи,

Не страшился, не боялся
Привидений и чудовищ,
Духов смерти и безумья,
Наводнявших эту ночь!

Чистый соловей, он думал
Лишь о господе любимом,
Лишь к нему пылал любовью,
Лишь его хвалою славил!

Только тридцать весен прожил
Вещий Габироль, но Фама
Раструбила по вселенной
Славу имени его.

По соседству с ним в Кордове
Жил какой-то мавр; он тоже
Сочинял стихи и гнусно
Стал завидовать поэту.

Чуть поэт начнет бывало
Петь, — вскипает желчь у мавра;
Сладость песни у мерзавца
Обращалась в горечь злобы.

Ночью в дом свой заманил он
Ненавистного поэта
И убил его, а труп
Закопал в саду за домом.

Но из почвы, где зарыл он
Тело, вдруг росток пробился,
И смоковница возникла
Красоты неповторимой.

Плод был странно удлиненный,
Полный сладости волшебной,

Кто вкусил его — изведал
Упоенье дивной грезы.

И тогда пошли в народе
Толки, сплетни, пересуды,
И своим светлейшим ухом
Их услышал сам калиф.

Сей же, собственоязычно
Насладившись феноменом,
Учредил немедля строгий
Комитет по разысканью.

Дело взвесили суммарно:
Всыпали владельцу сада
В пятки шестьдесят бамбуков —
Он сознался в злодеянье.

После вырвали из почвы
Всю смоковницу с корнями,
И народ узрел воочью
Труп кровавый Габироля.

Пышно было погребенье,
Беспредельно горе братьев;
В то же утро был повешен
Мавр-убийца из Кордовы.

ДИСПУТ

Заливаются фанфары
В зале города Толедо,
Толпы пестрые стеклись
На духовную беседу.

Тут оружие не заблещет,
Как при светской грубой свалке,
Будут копиями слова
В схоластической закалке.

То сошлись не на турнир
Два галантных паладина, —
Предстоит словесный бой
Капуцина и раввина.

Прикрывают их скуфья
И ермолка — те же шлемы.
«Арбекаanfес» и нарамник —
Их доспехи и эмблемы.

Кто воистину господь?
Бог ли то евреев старый
И единый, чей поборник —
Рабби Юда из Наварры,

Или это триединый
Бог по вере христианской,
Чей поборник — патер Хозе,
Настоятель францисканский?

Подбирая аргументы
И логические звенья
И ссылаясь на ученых,
Вес которых — вне сомненья,

Хочет каждый *ad absurdum**
Привести слова другого,
Превосходство доказав
Иисуса иль Егovy.

Решено, что кто потерпит
В этом споре поражение,
Должен будет перейти
В победившее ученье;

Что окрестит иудея
Францисканец в наказанье,

* к абсурду

И обратно — что грозит
Капуцину обрезање.

И еврея и монаха
Окружают их клеветы;
Разделить судьбу вождей
Принесли они обеты.

В торжество христовой веры
Твердо верят капуцины:
Со святой водой купели
Притащили на крестины

И уж держат наготове
И кропила и кадила;
Между тем ножи евреи
Бодро точат о точила.

Так стоят, готовясь к бою,
Обе своры среди зала,
И столпившийся народ
С нетерпеньем ждет сигнала.

Под навесом золотым,
С королем-супругом рядом,
Королева озирает
Круг придворных детским взглядом.

Носик вздернутый, французский,
Шаловливые гримаски,
Уст улыбчивых рубины —
Сколько чар и сколько ласки!

Как цветок, она прекрасна.
Боже, бедную помилуй!
С берегов веселой Сены
Привезли ее в унылый

Край сухого этикета,
И захла, как в пустыне.
Бланш Бурбон в отчизне звали,
Доньей Бланкой стала ныне.

Сам король «жестоким Педро»
Прозван слугами своими,
Но сегодня в духе он,
Лучше он, чем это имя.

С приближенными любезно
Разговаривает Педро,
Маврам и евреям тоже
Комплименты сыплет щедро.

В рыцарях без крайней плоти
Он обрел друзей бесценных —
Превосходных финансистов,
Выдающихся военных.

Затрещали барабаны,
Затрубили трубы, — это
Значит, что открылись пренья,
Что схватились два атлета.

Францисканец начал диспут
В тоне ярости священной.
Хриплым голосом рычит он
И визжит попеременно.

Именем отца и сына
И святого духа властно
Бесов он заклял, сидящих
В чаде Якова злосчастном.

Ведь известно, что при спорах
Часто чорт сидит в еврее
И нашептывает мысли
Побойчей да поострее.

Чудодейством заклинанья
Выгнав дьявола умело,
За догматику он взялся,
Катехизис двинул в дело.

Говорит, что божество
Воплощается в трех лицах,
Но все трое, если нужно,
Воедино могут слиться;

Что постигнуть это чудо
И поверить не на шутку
Может только тот, кто бросит
Вызов здравому рассудку;

Что родился наш господь
В Вифлееме, в скромном хлеве,
И внушен святым был духом
Сохранившей девство деве;

Что лежал Спаситель в яслях,
И смотрели, выгнув спины,
На него бычок и телка
Взором набожной скотины;

Что бежал в Египет бог,
Жизнь от Ирода спасая,
Но затем его постигла
В Палестине участь злая,

Ибо Понтием Пилатом
По наветам фарисеев
Был он отдан на распятие
В руки мерзостных евреев;

Что уже на третий день
Гроб господь пустым оставил
И прямым путем оттуда
В небо свой полет направил;

Но, когда настанет время,
Он на землю возвратится
И живым и мертвым тварям
Повелит на суд явиться.

«Трепещите, — взвизгнул он, —
Перед богом, злые черти!
Вы его терзали, били
И подвергли крестной смерти.

О жида-христопродавцы,
Злонамеренное племя!
Вы поднесь — убийцы бога,
Как и были в оно время.

Род жидовский — это падаль,
Обиталище драконов,
И тела у вас — казармы
Для бесовских легионов.

Так сказал Фома Аквинский,
Муж великий и ученый,
Светоч знания, коим горд,
Коим славен мир крещеный.

Вы, как волки, как шакалы,
Кровожадны и свирепы,
Вы — гиены, на кладбищах
Расхищающие склепы!

Иудеи! Вы — вампиры,
Носороги, крокодилы,
Кабаны, гиппопотамы,
Павианы и гориллы!

Совы, филины, вороны,
Пугачи, сычи, удода,
Нечисть ночи, василиски,
Богомерзкие уроды!

Гады, ящеры, ехидны,
Черви, пакостные жабы!
Искупителю вас всех
Раздавить давно пора бы.

Если ценно вам, проклятым,
Ваших бедных душ спасенье, —
Прочь из гнусной синагоги
В наши мирные селенья,

В светлый храм любви христовой!
Там вам головы окатит,
Из святой струясь купели,
Ключ господней благодати.

Сбросьте ветхого Адама,
О повапленные гробы,
Смойте грех, отмойте плесень
Застарелой вашей злобы.

Божий глас ужель не внятен?
Он зовет вас, неофитов,
На груди Христа стряхнуть
Вашей скверны паразитов.

Воплотил наш бог любовь
И ягненку был подобен, —
На кресте за нас он умер,
Всепрощающе беззлобен.

Воплотил наш бог любовь,
И святым его ученьем
Мы прониклись — милосердьем,
Миролюбьем и смиреньем.

Мы — такие добряки,
Что и мухи не обидим,
И когда-нибудь за это
В царство божие мы внидем.

Райским светом просияв,
Станем мы, как ангелочки,
Там бродить, держа в руках
Белых лилий стебелечки.

Вместо грубых ряс, наденем
Белоснежные хитоны
Из парчи, муслина, шелка,
Ленты пестрые, помпоны.

И не будет лысин! Будут
Золотые кудри виться,
Заплетать их станут в косы
Нам красивые девицы.

Чаши для вина на небе
Несомненно будут шире,
Чем вспененные хмельною
Влагой кубки в этом мире,

Но, напротив, много уже,
Чем у женщин, здесь желанных,
Будут ротки красавиц,
В небе нам обетованных.

Вечно будем мы вкушать
Хмель вина и поцелуя
И блаженно гимны петь
«Кирие» и «аллилуйя».

Так закончил он. Монахи,
Возомнив, что одолели,
Стали было для крещенья
Наполнять водой купели;

Но больны водобоязнию
Все евреи от рожденья;
Рабби Юда из Наварры
Слово взял для возраженья.

«Ты хотел во мне удобрить
Почву духа для посева,
Забросав меня навозом
Сквернословия и гнева.

На приемах — отпечаток
Воспитанья и пошиба.
Не сержусь я и по дружбе
Говорю тебе спасибо.

Догмат Троицы для нас —
Не спасительное средство:
Все мы правилом тройным
Занимаемся сыздетства.

Совместились три лица
В вашем боге? Что ж, немного!
У язычников шесть тысяч
Разных форм и видов бога.

Бог, по имени Христос,
Мне, признаться, неизвестен.
С девой-матерью встречаться
Не имел я также чести.

Если с ним тому назад
Более тысячелетья
Приключилась неприятность,
Рад об этом пожалеть я.

Но евреи ли убийцы, —
Вряд ли кто-нибудь дознался,
Если сам *delicti cogrus* *
К третьей ночи затерялся.

А что с ним наш бог в родстве,
Это просто чьи-то бредни,

* предмет преступления

Ибо, сколько нам известно,
Был бездетен сей последний.

Бог наш для людского рода
Не согбен под крестной ношей,
Он совсем не филантроп,
Не слюнтяй и не святоша.

Бог наш — не любовь! К нему
С поцелуями не лезьте,
Ибо это грозный бог,
Громовержущий бог мести.

Гнев господень мечет стрелы
И разит виновных метко,
Отдаленные потомки
Часто платятся за предка.

Наш господь царит доселе
Средь небесного чертога,
И вовеки несть конца
В небесах господству бога.

И притом он здоровяк,
А не миф какой-то хилый,
Тощий, бледный, как облатка
Иль как призрак из могилы.

Бог силен: в руках он держит
Все светила небосвода,
А когда нахмурит брови,
Гибнут троны и народы.

Бог велик — наш царь Давид
Говорит: величье божье
Нет возможности измерить,
Вся земля — его подножье.

Любит музыку наш бог,
Звуки струн и песнопенья,
Но к церковному трезвону
Он питает отвращенье.

И у бога рыба есть.
Слышал о Левиафана?
Каждый день по часу с ним
Бог играет в океане.

Только в день девятый аба,
В день, когда был храм развален,
Бог наш с рыбой не играет, —
Слишком он тогда печален.

У той рыбы плавники
Велики, как царь Васанский
Ок, длина ее — сто миль,
Хвост — как старый кедр ливанский.

Ну, а мясо у нее —
Это просто объеденье!
В день восстания из мертвых
Бог отправит приглашенье

Всем, кто шел его стезею,
С ним совместно отобедать
И его любимой рыбы,
Рыбы господя, отвеждать,

Частью в соусе чесночном,
Частью в винном. А вино-то!
Приготовят эту рыбу
Наподобье мателота.

В белом соусе чесночном
Редька плавает в приправу.
Я уверен, патер Хозе,
Что наешься ты на славу,

Но и винную подливку
Неприменно ты попробуй,
Если ты, мой патер Хозе,
Ублажишь свою утробу.

Бог наш знает в кухне толк,
Так не будь же ты болваном:
Распрощайся с крайней плотью,
Насладись Левиафаном!»

Так противника прельщает
Рабби сладкими словами,
И евреи, ухмыляясь,
Приближаются с ножами,

Чтобы в знак своей победы
Поживиться плотью крайней,
Этим *spolium orisum* *
В сей борьбе необычайной.

Но враги за веру предков
И за плоть свою держались,
Не хотели с ней расстаться
И упорно не сдавались.

Принялся монах раввина
Поносить еще безбожней,
Речь его — ночной горшок,
И к тому же не порожний.

Снова рабби возражает,
В сердце затаив обиду,
И, хоть кровь кипит от гнева,
Все же он спокоен с виду.

* оружие, отнятое у врага

Он ссылается на «Мишну»,
Комментарии, трактаты,
Почерпнул и в «Таусфес-Ионтеф»
Очень веские цитаты.

Но какое допустил
Богохульство патер грубый:
Он послать себе позволил
«Таусфес-Ионтеф» к чорту в зубы.

«Боже, тут всему конец! —
Крикнул рабби в иступленье
И совсем осатанел, —
Видно, лопнуло терпенье. —

«Таусфес-Ионтефу» велишь ты
К чорту в зубы убираться?
Покарай кощунство, боже,
Ниспровергни святотатца,

Ибо «Таусфес-Ионтеф» — это
Ты, создатель, и фигляру
За хулу на «Таусфес-Ионтеф»
Должен ты назначить кару.

Пусть провалится сквозь землю,
Как погибли те злодеи,
Что восстали на тебя
Под командою Корея!

Громыхни громчайшим громом,
Изуродуй изувера. —
Ведь нашлись же для Содома
И Гоморры огонь и сера.

Порази ты капуцинов,
Как однажды фараона,
От которого стречка
Дали мы во время оно.

Он стотысячное войско
Приготовил для погони,
Потрясавшее мечами
И закованное в брони.

Но ты спас, простерши длань,
Свой народ от супостата:
Все сто тысяч в Красном море
Утонули, как котята.

Так ударь по капуцинам,
Чтоб не думали, обломы,
Что твой гнев уже не страшен,
Что твои заглохли громы.

Я тогда твою победу
Прославлять не перестану
И пушусь, как Мирьям, в пляс
И ударю по тимпану».

Но разгневанного рабби
Перебил католик рьяный:
«Чтоб ты сам пропал, проклятый,
Чтоб ты сгинул, окаянный!

Мне не страшен бог твой грязный,
Не боюсь чертей нимало —
Люцифера, Вельзевула,
Астарота, Велиала.

Не боюсь твоих я духов,
Темной силы преисподней, —
Сам Христос в меня вселился,
Плоти я вкусил господней.

Причастился я Христа,
Им я лакомиться стану,
Не притронусь я к дрянному
Твоему Левиафану.

Чем на споры время тратить,
Всех бы вас я, к пользе вящей,
На костре жарчайшем жарил
Иль варил в смоле кипящей!»

Так за веру и творца
Иступленно бьются оба,
И конца не видно спору,
И не может стихнуть злоба.

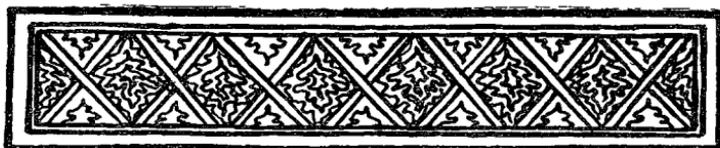
Длится диспут целый день,
Но противники упрямы.
Очень публика устала,
И потеют сильно дамы.

Все придворные зевают
И клюют от скуки носом.
Наконец король к жене
Обращается с вопросом:

«Каково решенье ваше?
Чья религия мудрее?
Подаете ли вы голос
За монаха иль еврея?»

Донья Бланка на него
Посмотрела в размышленье
И, прижав ко лбу ладони,
Так сказала в заключенье:

«Ничего не поняла
Я ни в той, ни в этой вере,
Но мне кажется, что оба
Портят воздух в равной мере».



З А М Е Т К И

I. РАМПСЕНИТ

По свидетельству египетских жрецов, казна Рампсенита была так богата, что ни один из последующих царей не только не мог превзойти его, но даже сравниться с ним. Желая сохранить в неприкосновенности свои сокровища, выстроил он будто бы каменную кладовую, одна стена которой прилегалась к наружной стороне его дворца. Однако зодчий со злым умыслом устроил следующее. Он приспособил один из камней таким образом, что два человека, или даже один, могли легко вынуть его из стены. Соорудив эту кладовую, царь укрыл в ней свои сокровища. И вот по прошествии некоторого времени позвал к себе зодчий, незадолго перед кончиною, сыновей (коих у него было двое) и поведал им про то, как он позаботился о них, чтобы жить им в изобилии, и про хитрость, которую применил при сооружении царской сокровищницы; и точно объяснив, как вынимать тот камень, указал он им также нужную для сего меру и в заключение добавил, что если они станут все это исполнять, то царские сокровища будут в их руках. Затем кончилась его жизнь; сыновья же его не замедлили приступить к делу: они пошли ночью к царскому дворцу, в самом деле нашли камень в стене, с легкостью обошлись с ним и унесли с собою много сокровищ. Когда же царь снова открыл кладовую, то изумился, увидав, что сосуды с сокровищами не полны до краев; однако обвинить в этом он никого не мог, так как печати

(на дверях) были целы и кладовая оставалась запертой... Однако, когда он, побывав дважды и трижды, увидел, что сокровищ становится все меньше (так как воры не переставали обкрадывать его), он сделал следующее. Он приказал изготовить капканы и расставил их вокруг сосудов с сокровищами. Когда же воры пришли снова и один из них прокрался внутрь и приблизился к сосуду, то тотчас же попал в капкан. Поняв приключившуюся с ним беду, он тотчас же окликнул брата, объяснил ему случившееся и приказал как можно скорее влезть и отрезать ему голову, дабы и того не вовлечь в погибель, если его увидят и узнают, кто он таков. Тот согласился со сказанным и поступил по совету брата, затем приладил камень снова так, чтобы совпадали швы, и пошел домой, унося с собою голову брата. Когда же наступил день и царь вошел в кладовую, был он весьма поражен видом обезглавленных останков вора, застрявшего в капкане, между тем как кладовая оставалась нетронутой и не было в нее ни входа ни какой-нибудь лазейки. Говорят, что, попав в такое затруднительное положение, он поступил следующим образом. Он велел повесить труп вора на стене и подле него поставил стражу, приказав ей схватить и привести к нему всякого, кто будет замечен плачущим или стенающим. Когда же труп был таким образом повешен, мать вора скорбела очень об этом. Она поговорила со своим оставшимся в живых сыном и потребовала от него каким бы то ни было способом снять труп брата; и когда он хотел уклониться от этого, она пригрозила, что пойдет к царю и донесет, что это он взял сокровища. Когда же мать проявила такую суровость к оставшемуся в живых сыну и все его увещания не привели ни к чему, говорят, он употребил следующую хитрость. Он снарядил несколько ослов, навьючил на них мехи с вином и затем погнал ослов впереди себя; и когда он поровнялся со стражей, сторожившей повешенный труп, он дернул развязанные концы трех или четырех мехов. Когда вино потекло, он стал с громким криком бить себя по голове, как бы не зная, к которому из ослов раньше броситься. Сторожа, однако, увидав вытекавшее



Памятник Г. Гейне на кладбище Монмартр в Париже
Работа скульптора Госсельриис 1904 г.

в изобилии вино, сбежались с сосудами на дорогу и собрали вытекавшее вино в качестве законной своей добычи, — чем он притворился немало рассерженным и ругал всех их. Но когда стража стала утешать его, он притворился, будто мало-помалу смягчается и гнев его проходит; наконец он согнал ослов с дороги и стал поправлять на них сбрую. Когда же теперь слово за слово они разговорились и стали смешить его шутками, он отдал им еще один мех впридачу, и тогда они решили улечься тут же на месте пить, пожелали также его присутствия и приказали ему остаться, чтобы выпить здесь вместе с ними, на что он согласился и остался там. В конце концов, так как стража ласково обходилась с ним во время попойки, он отдал ей впридачу еще второй мех... Тогда вследствие основательной выпивки сторожа перепились сверх всякой меры и, обесиленные сном, растянулись на том самом месте, где пили. Так как была уже глухая ночь, он снял труп брата и обстриг еще в знак поругания всем сторожам правые половины бород; положил затем труп на ослов и погнал их домой, исполнив таким образом то, что заповедала ему мать.

Царь же, когда ему донесли, что труп вора украден, будто бы очень разгневался; и так как он во что бы то ни стало хотел открыть виновника этих проделок, то употребил, чему я не верю, следующее средство. Родную дочь он поместил в балагане, как если бы она продавала себя, и приказал ей допускать к себе всякого без различия; однако, прежде чем сойтись, она должна была заставлять каждого рассказать ей самую хитрую и самую бессовестную проделку, какую он совершил в своей жизни, и если бы при этом кто-нибудь рассказал ей историю о воре, того должна была она схватить и не выпускать. Девушка действительно поступила так, как ей приказал отец, но вор дознался, к чему все это устроено, решил еще раз превзойти царя хитростью и будто сделал следующее. Он отрезал у свежего трупа руку по плечо и взял ее под плащом с собою. Таким образом пошел он к царевой дочери, и, когда она его, так же как и других, спросила, он рассказал ей, как самую бессовестную свою проделку,

что он отрезал голову родному брату, попавшемуся в царской сокровищнице в капкан, а как самую хитрую, что он напоил стражу допьяна и снял повешенный труп брата. При этих словах она хотела его схватить, но вор протянул ей в темноте мертвую руку, которую она схватила и удержала, убежденная, что держит его собственную руку; между тем он отпустил эту последнюю и поспешно скрылся в дверь. Когда же и об этом донесли царю, он совсем изумился изворотливости и смелости того человека. Но, в конце концов, он будто бы велел объявить по всем городам, что дарует безнаказанность этому человеку и обещает ему всяческие блага, если тот откроет себя и предстанет перед ним.

Вор этому доверился и предстал пред ним; и Рампсенит чрезвычайно восхищался им, даже отдал ему в жены ту дочь, как умнейшему из людей, поскольку египтян он считал мудрейшим из народов, а этого человека мудрейшим из египтян.

(Геродот, История, книга II, глава 121.)

II. ПОЛЕ БИТВЫ ПРИ ГАСТИНГСЕ

ПОГРЕБЕНИЕ КОРОЛЯ ГАРОЛЬДА

Два саксонских монаха, Асгот и Айльрик, посланные настоятелем Вальдгема, просили разрешения перенести останки своего благодетеля к себе в церковь, что им и разрешили. Они ходили между грудями тел, лишенных оружия и одежды, тщательно разглядывали их одно за другим и не находили того, кого искали: так был он обезображен ранами. В печали, отчаявшись в счастливом исходе своих поисков, обратились они к одной женщине, которую Гарольд, прежде чем стать королем, содержал в качестве любовницы, и попросили ее присоединиться к ним. Ее звали Эдит, и она носила прозвище Красавицы с лебединой шеей. Она согласилась пойти вместе с обоими монахами, и оказалось, что ей легче, чем им, найти тело того, кого она любила.

(Ог. Тьерри, История завоевания Англии норманнами, стр. 348.)

III. ВОСПОМИНАНИЕ

И маленький Вильгельм лежит там, и в этом я виноват. Мы были школьными товарищами в монастыре францисканцев, играли в том месте его, где между каменных стен течет Дюссель, и я сказал: «Вильгельм, вытащи кошечку, которая упала в воду!» — И он весело вскочил на доску, перекинутую через ручей, вытащил кошечку из воды, но сам упал туда, и когда его извлекли, он был мокр и мертв. Кошечка жила еще долго.

(«Путевые картины» Генриха Гейне, вторая часть, гл. VI.)

IV. ИЕГУДА БЕН-ГАЛЕВИ

Песнь, пропетая левитом Иегудой, украшает главу общины, точно драгоценнейшая диадема, точно жемчужная цепь обвивает его шею. Он — столп и утверждение храма песнопения, — пребывающий в чертогах науки, могучий, мечущий песнь, как копьё... повергнувший исполинов песни, их победитель и господин. Его песни лишают мудрых мужества песнопения — перед ними почти иссякают сила и пламень Ассафа и Иедутана, и пение караитов кажется слишком долгим. Он ворвался в житницы песнопения и разграбил запасы их и унес с собою прекраснейшие из орудий, — он вышел наружу и затворил врата, чтобы никто после него не вступил в них. — И тем, кто следует за ним по стопам его — чтобы перенять искусство его пения, — им не настичь даже пыли его победной колесницы. — Все певцы несут на устах его слово и лобызают землю, по которой он ступал. Ибо в творениях художественной речи язык его проявляет силу и мощь. Своими молитвами он увлекает сердца, покоряя их, в своих любовных песнях он нежен, как роса, и воспламеняет, как пылающие угли, и в своих жалобах струится облаком слез, в посланиях и сочинениях, которые он слагает, заключена вся поэзия.

(«Рабби Саломон Аль-Харизи о рабби Иегуде Галеви».)



ПОСЛЕСЛОВИЕ К «РОМАНЦЕРО»

Я назвал эту книгу «Романцero», поскольку тон романа преобладает в стихах, которые здесь собраны. Я написал их, за немногими исключениями, в течение трех последних лет среди всевозможных физических тягот и мучений. Одновременно с «Романцero» я выпускаю в том же издательстве небольшую книжечку, которая носит название «Доктор Фауст, поэма для танца, а также курьезные сообщения о дьяволе, ведьмах и стихотворном искусстве». Я рекомендую последнюю достопочтенной публике, которая непрочь приобретать знания о такого рода предметах без всякого умственного напряжения; это тонкая, ювелирная работа, при виде которой покачает головою не один неискусный кузнец. Я намеревался первоначально включить это произведение в «Романцero», но отказался от этого, чтобы не нарушать единства настроения, которое господствует в последнем и создает его колорит. Эту поэму для танца я написал в 1847 году, в то время, когда мой злой недуг шагнул уже далеко вперед, хотя не бросил еще свои мрачные тени на мою душу. Я сохранял еще в то время немножко мяса и язычества и еще не был исхудалым, спиритуалистическим скелетом, нетерпеливо ожидающим своего окончательного уничтожения. Но в самом деле, разве я еще существую? Плоть моя до такой степени измождена, что от меня не осталось почти ничего, кроме голоса, и кровать моя напоминает мне вещающую могилу волшебника Мерлина, погребенного в лесу Броселиан,

в Бретани, под сенью высоких дубов, вершины которых пылают, подобно зеленому пламени, устремленному к небу. Ах, коллега Мерлин, завидую тому, что у тебя есть эти деревья и их свежее веяние; ведь ни единый шорох зеленого листка не доносится до моей матрацной могилы в Париже, где я слышу с утра до вечера только грохот экипажей, стук, крики и бренчанье на рояле. Могила без тишины, смерть без привилегий мертвецов, которым не приходится тратить деньги и писать письма или даже книги — печальное положение! Давно уже сняли с меня мерку для гроба, да и для некролога тоже, но умираю я так медленно, что это становится прямо-таки несносным и для меня и для моих друзей... Но терпение! Всему приходит конец. Как-нибудь утром вы найдете закрытым балаганчик, в котором вас так часто потешали кукольные комедии моего юмора.

Но что станет, когда я умру, с бедными петрушками, которых я годы выводил на сцену во время этих представлений? Какая судьба ждет, например, Масмана? Я расстаюсь с ним так неохотно, и мною овладевает поистине глубокая печаль, когда я вспоминаю стихи:

О, где же короткие ножки его,
У носа бородавки?
Как пудель, он быстро, бодро, свежо
Кувyrкается на травке.

(Пер. Тынянова.)

И он знает латынь. Правда, я так часто утверждал противоположное в своих писаниях, что никто уже не сомневался в моих утверждениях, и несчастный стал предметом всеобщего осмеяния. Мальчишки в школе спросили его, на каком языке написан «Дон-Кихот»? И когда мой бедный Масман отвечал: на испанском, — они возразили, что он ошибается, — «Дон-Кихот» написан по-латыни, и он спутал ее с испанским. Даже у собственной его супруги достало жестокости кричать во время домашних недоразумений, что ей странно, как супруг не понимает того, что она разговаривает с ним все-таки по-немецки, а не по-латыни. Бабушка Масмана, прачка безукоризненной нрав-

ственности, стиравшая когда-то на Фридриха Великого, умерла, огорченная позором своего внука; дядя, честный, старопрусский латальщик сапог, вообразил, будто опозорен весь его род, и от досады спился.

Я сожалею, что юношеское мое легкомыслие натворило столько бедствий. Почтенной прачке я, к сожалению, уже не могу вернуть жизнь и не могу отвадить от водки чувствительного дядюшку, валяющегося ныне в сточных канавах Берлина; но его самого, моего бедного шута Масмана, я намерен реабилитировать в общественном мнении, торжественно взяв обратно все, что когда бы то ни было высказывал по поводу его безлатинья, его латинской импотенции, его *magna linguae romanae ignogantia* *.

Я все-таки облегчил бы таким образом свою совесть. Когда лежишь на смертном одре, становишься очень чувствительным и мягкосердечным и непрочь примириться с богом и с миром. Признаю: многих я царпал, многих кусал и отнюдь не был агнцем. Но, поверьте мне, прославленные агнцы кротости вовсе не вели бы себя так смиренно, если бы обладали клыками и когтями тигра. Я могу похвалиться тем, что лишь изредка пользовался этим естественным оружием. С тех пор как я сам нуждаюсь в милосердии божьем, я даровал амнистию всем своим врагам; много превосходных стихотворений, направленных против очень высоких и очень низменных персон, не были поэтому включены в настоящий сборник. Стихотворения, хотя бы отдаленно заключающие в себе колкости против господ бога, я с боязливым рвением предал огню. Лучше пусть горят стихи, чем стихотворец. Да, я пошел на мировую с создателем, как и с созданием, к величайшей досаде моих просвещенных друзей, которые упрекали меня в этом, в отступничестве, в возвращении назад, к старым суевериям, как им угодно было окрестить мое возвращение к богу. Иные, по нетерпимости своей, выражались еще резче. Высокий собор служителей атеизма предал меня анафеме, и находятся фанатические попы неверия,

* великого неведения языка римлян,

которые с радостью подвергли бы меня пытке, чтобы вынудить у меня сознание во всех моих ересях. К счастью, они не располагают никакими другими орудиями пытки, кроме собственных писаний. Но я готов и без пытки признаться во всем. Да, я возвратился к богу, подобно блудному сыну, после того как долгое время пас свиней у гегельянцев. Были ли то беды, что пригнали меня обратно? Были ли то несчастья, что пригнали меня обратно? Быть может, менее ничтожная причина. Тоска по небесной родине напала на меня и гнала через леса и ущелья, по самым головокружительным тропинкам диалектики. На пути мне попался бог пантеистов, но я не мог им воспользоваться... Это убогое, мечтательное существо переплелось и срослось с миром, оно как бы заточено в нем и зевает тебе в ответ, безвольное и немощное. Обладать волей можно только тогда, когда не связаны локти. Когда страстно желаешь бога, который в силах помочь, — а ведь это все-таки главное, — нужно принять и его личное бытие, и его внемирность, и его священные атрибуты, всеблагость, всеведение, всеправедность и т. д. Бессмертие души, наше потустороннее существование, достается нам впридачу, точно прекрасная мозговая кость, которую мясник бесплатно подсовывает в корзинку, когда он доволен покупателями. Такого рода прекрасная мозговая кость зовется на языке французской кухни *la réjouissance* *, и на ней готовят совершенно замечательные бульоны, чрезвычайно крепительные и усладительные для бедного истощенного больного. То, что я не отказался от такого рода *réjouissance*, но, напротив, с приятностью воспринял ее душою, одобрит всякий не лишенный чувства человек.

Я говорил о боге пантеистов, но не могу при этом не заметить, что он в сущности вовсе не бог, да и, собственно говоря, пантеисты — не что иное, как стыдливые атеисты; они страшатся не столько самого предмета, сколько тени, которую он отбрасывает на стену, или его имени. В Гер-

* Кости, которые мясник дает впридачу к отвешенному мясу.

мании во времена реставрации большинство разыгрывало такую же пятнадцатилетнюю комедию с господом богом, какую здесь, во Франции, разыгрывали с королевской властью конституционные роялисты, бывшие по большей части в глубине души республиканцами. После Июльской революции маски были сброшены и по ту и по другую сторону Рейна. С тех пор, в особенности же после падения Луи-Филиппа, лучшего монарха, когда бы то ни было носившего конституционный терновый венец, здесь, во Франции, сложился взгляд, согласно которому только две формы правления, абсолютная монархия и республика, могут выдержать критику разума или опыта, и необходимо выбрать одну из двух, промежуточные же смеси ложны, неосновательны и пагубны. Точно таким же образом в Германии всплыло убеждение в том, что необходимо сделать выбор между религией и философией, между откровением, ниспосланным догматами веры, и последними выводами мышления, между абсолютным библейским богом и атеизмом.

Чем мужественнее умы, тем легче становятся они жертвою подобных дилемм. Что касается меня, я не могу похвастаться особенным прогрессом в политике; я оставался при тех же демократических принципах, которым моя юность поклялась в верности и во имя которых я с тех пор пылал все горячее. В теологии, наоборот, мне приходится каяться в регрессе, причем возвратился я, как уже заявлено выше, к старому суеверию, к личному богу. Этого никак нельзя затушевать, что пытались сделать иные просвещенные и доброжелательные друзья. Однако же я должен категорически опровергнуть слух, будто мое отступление привело меня к порогу той или иной церкви или даже в самое ее лоно. Нет, мои религиозные убеждения и взгляды попрежнему свободны от всякой церковности; никаким колокольным звоном я не соблазнился, и ни одна алтарная свеча не ослепила меня. Я никогда не играл в ту или иную символику и не вполне отрекся от моего разума. Я никого не предал, даже своих языческих богов, от которых я, правда, отвернулся, однако расставшись с ними

дружески и любовно. Это было в мае 1848, в день, когда я в последний раз вышел из дому и простился с милыми кумирами, которым поклонялся во времена моего счастья. Лишь с трудом удалось мне донестись до Лувра, я чуть не упал от слабости, войдя в благородный зал, где стоит на своем постаменте вечно благословенная богиня красоты, наша мать божья из Милоса. Я долго лежал у ее ног и плакал так горестно, что слезами моими тронулся бы даже камень. И богиня глядела на меня с высоты сочувственно, но так безнадежно, как будто хотела сказать: «Разве ты не видишь, что у меня нет рук и я не могу тебе помочь?!»

Я не стану продолжать, ибо выпадаю в плаксивый тон, который, пожалуй, может стать еще более плаксивым, когда я подумаю о том, что должен ныне расстаться и с тобою, дорогой читатель... Нечто вроде умиления овладевает мною при этой мысли, ибо расстаюсь я с тобою неохотно. Автор привыкает в конце концов к своей публике, точно она разумное существо. Да и ты как будто огорчен тем, что я должен проститься с тобою: ты растроган, мой дорогой читатель, и драгоценные перлы катятся из твоих слезных мешочков. Но успокойся, мы свидимся в лучшем мире, где я к тому же рассчитываю написать для тебя книги получше. Я исхожу из предположения, что там поправится и мое здоровье и что Сведенборг не налгал мне. Ведь он с большою самоуверенностью рассказывает, будто в ином мире мы будем спокойно продолжать наши старые занятия точь-в-точь так же, как предавались им в этом мире, будто сохраним там в неприкосновенности свою индивидуальность и будто смерть не вызовет особых пертурбаций в нашем органическом развитии. Сведенборг — честен до мозга костей, и достойны доверия его показания об ином мире, где он самолично встречался с персонами, игравшими значительную роль на нашей земле. Большинство из них, говорит он, никак не изменились и занимаются теми же делами, которыми они занимались и раньше; они остались стационарными, одряхлели, впали в старомодность, что иногда бывало очень смешно. Так, например, драгоценный наш доктор Мартин Лютер застрял на своем

учении о благодати и в защиту его ежедневно в течение трехсот лет переписывает одни и те же заплесневелые аргументы — совсем как покойный барон Экштейн, который двадцать лет подряд печатал во «Всеобщей газете» одну и ту же статью, упорно пережевывая старую иезуитскую закваску. Не всех, однако, игравших роль на земле застал Сведенборг в таком окаменелом оцепенении: иные изрядно усовершенствовались как в добре, так и во зле, и при этом происходят весьма странные вещи. Герои и святые сего мира стали там отъявленными негодьями и беспутниками, но наряду с этим случалось и обратное. Так, например, святому Антонию ударил в голову хмель высокомерия, когда он узнал, какое необыкновенное почитание и преклонение воздает ему весь христианский мир, и вот он, поборовший здесь, на земле, ужаснейшие искушения, стал теперь совсем наглым проходимцем и достойным петли распутником и валяется в дерьме, состязаясь с собственной свиньей. Целомудренная Сусанна дошла до предельного позора потому, что тщеславилась собственной нравственностью, в непобедимость которой она уверовала, устояв когда-то столь достопадно перед старцами; и она поддалась прелести юного Авессалома, сына Давидова. Дочери Лота, напротив, с течением времени очень укрепились в добродетели и слывут в том мире образцами благопристойности; старик же, по несчастью, как и раньше, привержен к винной бутылке.

Как бы глупо ни звучали эти рассказы, они, однако, столь же знаменательны, сколь и остроумны. Великий скандинавский ясновидец проник в единство и неделимость нашего бытия и в то же время вполне правильно познал и признал неотъемлемые права человеческой индивидуальности. Посмертное бытие у него вовсе не какой-нибудь идеальный маскарад, ради которого мы облакаемся в новые куртки и в нового человека: человек и костюм остаются у него неизменными. В ином мире Сведенборга уютно почувствуют себя даже бедные гренландцы, которые в старину, когда датские миссионеры попытались обратить их в христианство, задали им вопрос: водятся ли в хри-

стианском раю тюлени? Получив отрицательный ответ, они с огорчением заявили: в таком случае христианский рай не годится для гренландцев, которые, мол, не могут существовать без тюленей.

Как противится душа мысли о прекращении нашего личного бытия, мысли о вечном уничтожении! *Horror vacui* *, который приписывают природе, гораздо более сродни человеческому чувству. Утешься, дорогой читатель, мы будем существовать после смерти и в ином мире также найдем своих тюленей.

А теперь будь здоров, и если я тебе что-нибудь должен, пришли мне счет.

Написано в Париже, 30 сентября 1851.

Генрих Гейне.

* Ужас пустоты

**СТИХОТВОРЕНИЯ
1853 и 1854 ГОДОВ**



1. АЛКАЯ ПОКОЯ

Пусть кровь течет из раны, пусть
Из глаз струятся слезы чаще.
Есть тайная в печали страсть,
И нет бальзама плача слаще.

Не ранен ты чужой рукой,
Так должен сам себя ты ранить,
И богу воздавай хвалу,
Коль взор начнет слеза туманить.

Спадает шум дневной; идет
На землю ночь с протяжной дрёмой, —
В ее руках тебя ни плут
Не потревожит, ни знакомый.

Здесь ты от музыки спасен,
От пытки фортепьяно пьяных,
От блеска Оперы Большой
И страшных всплесков барабанных.

Здесь виртуозы не теснят
Тебя тщеславною оравой,
И с ними гений Джакомо
С его всемирной клакой славы.

О гроб, ты рай для тех ушей,
Которые толпы боятся.
Смерть хороша, — всего ж милей,
Когда б и вовсе не рождаться.

2. В МАЕ

Друзья, которых любил я в былом,
Они отплатили мне худшим злом.
И сердце разбито; но солнце мая
Снова смеется, весну встречая.

Цветет весна. В зеленых лесах
Звенит веселое пенье птах;
Цветы и девушки, смех у них ясен —
О мир прекрасный, ты ужасен!

Я Орк подземный теперь хвалю;
Контраст не ранит там душу мою;
Сердцам страдающим полный отдых
Там, под землю, в стигийских водах.

Меланхолически Стикс звучит,
Пустынно карканье стимфалид,
И фурий пение — визг и вой,
И Цербера лай над головой —

Мучительно ладят с несчастьем людей, —
В печальной долине, в царстве теней,
В проклятых владениях Прозерпины
С нашим страданием строй единый.

Но здесь, наверху, о как жестоко
Розы и солнце ранят око!
И майский и райский воздух ясен —
О мир прекрасный, ты ужасен!

3. ТЕЛО И ДУША

Так говорит душа: «О тело!
Я одного бы лишь хотела:
С тобой вовек не разлучаться,
С тобой во мрак и в ночь умчаться.
Ведь ты — мое второе я,
И облакаешь ты меня,

Как бы наряд, что шелком шит
И горностаями подбит.
Увы мне! Я теперь должна,
Абстрактна и оголена,
Навек блаженным стать Ничем,
В холодный перейти Эдем,
В чертоги те, где свет не тмится,
Где бродит Эонов немых вереница,
Уныло зевая, — тоску вокруг
Наводит их тувель свинцовых стук.
Как я все это претерплю?
О тело, будь со мной — молю!»

И тело отвечает ей:
«Утешься от своих скорбей!
Должны мы выносить с тобою,
Что нам назначено судьбою.
Я — лишь фитиль; его удел —
Чтоб в лампе он дотла сгорел.
Ты — чистый спирт, и станешь ты
Звездой небесной высоты
Блестать навек. — Я, прах исконный,
Остаток вещества сожженный,
Как все предметы, стану гнилью
И, наконец, смешаюсь с пылью.
Теперь прости, не унывай!
Приятнее, быть может, рай,
Чем кажется отсюда он.
Привет медведю, если б он,
Великий Бер * (не Мейербер),
Предстал тебе средь звездных сфер!»

4. КРАСНЫЕ ТУФЛИ

Кошка была стара и зла,
Она сапожницею слыла;
И правда, стоял лоток у окошка,

*) Игра слов: Бер — медведь (нем.)

С него торговала туфлями кошка,
А туфельки, как на показ,
И под сафьян и под атлас,
Под бархат и с золотой каймой,
С цветами, с бантами, с бахромой.
Но издали на лотке видна
Пурпурно-красная пара одна;
Она и цветом и видом своим
Девчонкам нравилась молодым.

Благородная белая мышка одна
Проходила однажды мимо окна;
Прошла, обернулась, опять подошла,
Посмотрела еще раз поверх стекла —
И вдруг сказала, робея немножко:
«Сударыня киска, сударыня кошка,
Красные туфли я очень люблю,
Если недорого, я куплю».

«Барышня, — кошка ответила ей, —
Будьте любезны зайти скорей,
Почтите стены скромного дома
Своим посещением, я знакома
Со всеми по своему занятию —
Даже с графинями, с высшей знатью —
Туфельки я уступлю вам, поверьте, —
Только подходят ли вам, примерьте —
Ах, право, один уж ваш визит...» —
Так хитрая кошка лебезит.

Неопытна белая мышь была,
В притон убийцы она вошла,
И села белая мышь на скамью
И ножку вытянула свою —
Узнать, подходят ли туфли под меру, —
Являя собою невинность и веру.
Но в это время, грозы внезапней,
Кошка ее возьми да цапни

И откусила ей голову ловко
И говорит ей: — «Эх ты, головка!
Вот ты и умерла теперь.
Но эти красные туфли, поверь,
Поставлю я на твоём гробу,
И когда затрубит архангел в трубу,
В день воскресения, белая мышь,
Ты из могилы выползи лишь, —
Как все другие в этот день, —
И сразу красные туфли надень».

М о р а л ь

Белые мышки, — мой совет:
Пусть не прельщает вас суетный свет,
И лучше пускай будут босы ножки,
Чем спрашивать красные туфли у кошки.

5. ВАВИЛОНСКИЕ ЗАБОТЫ

Я чую смерть, — о, как спокойно
Тебя покинул бы в чаще хвойной,
Где сумрачно темнеют елки,
Где вьется коршун, воют волки
И хрюкает, свиреп и рьян,
Муж грузной веприцы — кабан.

Я чую смерть, — коль быть кончине,
Так лучше уж в морской пучине
Тебя покинуть, милый друг.
Пусть ветер северный вокруг
Крушит валы, а из недр стихии
Всплывают чудища морские:
Акулы, крокодилы, жадно
Оскалясь на жертву пастью громадной.
Поверь, Матильда, друг сердечный,
Не так ужасно бесчеловечны
Свирепое морé и бор глухой,
Как этот край, где мы с тобой.

Кишит зверьем лесная трущоба,
 Акул порождает морская утроба,
 Но яростней, пакостей тварей нет,
 Чем в Париже, столице, затмившей свет.
 Сей шумный, безумный, упоительный град —
 Для дьяволов — рай, для ангелов — ад!
 Тебя оставить в этом аду!
 О! Я рехнусь, с ума сойду!

Глумливо мухи жужжат надо мной,
 Меня облепил их черный рой.
 От мерзкой нечисти куда укрыться?
 У многих из них человечьи лица
 Да хобот слоновий висит между щек,
 Точь-в-точь Ганеша — индусский бог.
 В мозгу моем страшный грохот и стук:
 Мне кажется, там забивают сундук,
 И в путь пускается мой разум, —
 Меня, увы! — покинув разом!

6. НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ

I

Сам суперкарго мингер ван-Кэк
 Сидит, погруженный в заботы.
 Он калькулирует груз корабля
 И проверяет расчеты.

«И гумми хорош, и перец хорош,—
 Всех бочек больше трех сотен.
 И золото есть, и кость хороша,
 И черный товар добротен.

Шестьсот чернокожих задаром я взял
 На берегу Сенегала.
 У них сухожилья — как толстый канат,
 А мышцы — тверже металла.

В уплату пошло дрянное вино,
Стеклярус да сверток сатина.
Тут виды процентов на восемьсот,
Хотя б умерла половина.

Да, если триста штук доживет
До гавани Рио-Жанейро, —
По сотне дукатов за каждого мне
Заплатит Гонзалес Перейро».

Так предается мингер ван-Кэк
Мечтам, но в эту минуту
Заходит к нему корабельный хирург,
Герр ван-дер-Смиссен, в каюту.

Он сух, как палка. Малиновый нос
И три бородавки под глазом.
«Ну, эскулап мой, — кричит ван-Кэк, —
Не скучно ль моим черномазым?»

Доктор, отвесив поклон, говорит:
«Не скрою печальных известий:
Прошедшей ночью весьма возросла
Смертность среди этих бестий.

На круг умирало их по-двое в день,
А нынче семеро пали:
Четыре женщины, трое мужчин,
Убыток проставлен в журнале.

Я трупы, конечно, осмотру подверг, —
Ведь с этими шельмами горе!
Прикинется мертвым да так и лежит
С расчетом, что вышвырнут в море.

Я цепи со всех покойников снял
И утром, поближе к восходу,
Велел, как мною заведено,
Дохлатину выкинуть в воду.

На них налетели, как мухи на мед,
Акулы — целая масса.
Я каждый день их снабжаю пайком
Из негритянского мяса.

С тех пор как бухту покинули мы,
Они плывут подле борта.
Для этих каналов вонючий труп
Вкуснее всякого торта.

Занятно глядеть, с какой быстротой
Они учиняют расправу:
Та в ногу вцепится, та в башку,
А этой лохмотья по нраву.

Нажравшись, они подплывают опять
И пьют в лицо мне глазищи,
Как будто хотят изъяснить свой восторг
По поводу съеденной пищи».

Но тут ван-Кэк со вздохом сказал:
«Какие ж вы приняли меры?
Как нам убыток предотвратить
Иль снизить его размеры?»

И доктор ответил: «Свою беду
Накликали черные сами:
От их дыханья в трюме смердит
Хуже, чем в свалочной яме.

Но часть, безусловно, подохла с тоски,
Им нужен какой-нибудь роздых;
От скуки безделья лучший рецепт —
Музыка, танцы и воздух».

Ван-Кэк вскричал: «Дорогой эскулап,
Совет ваш стоит червонца!
В вас Аристотель воскрес — педагог
Великого македонца.

Клянусь, даже первый в Дельфте мудрец,
Сам президент комитета
По улучшенью тюльпанов, и тот
Не дал бы такого совета!

Музыку! Музыку! Люди, наверх!
Ведите черных на шканцы!
И пусть веселятся под розгами те,
Кому неуютны танцы!»

II

В бездонной лазури мильоны звезд
Горят над простором безбрежным.
Глазам красавиц подобны они,
Загадочным, грустным и нежным.

Они, любуясь, глядят в океан,
Где, света подводного полны,
Фосфоресцируя в розовой мгле,
Шумят сладострастные волны.

На судне свернуты все паруса,
Оно лежит без оснастки.
Но палуба залита светом свечей,
Там пенье, музыка, пляски.

На скрипке пиликает рулевой,
Доктор на флейте играет,
Юнга неистово бьет в барабан,
Кок на трубе завывает.

Сто негров, танцуя, беснуются там;
От грохота, звона и пляса
Им душно, им жарко, и цепи, звеня,
Впиваются в черное мясо.

От бешеной пляски судно гудит,
И, с темным от похоти взором,

Иная из черных красоток, дрожа,
Сплетается с голым партнером.

Надсмотрщик — maître de plaisirs *, —
Он хлещет каждое тело,
Чтоб не ленились танцоры плясать
И не стояли без дела.

И ди-дель-дум-дей и шнед-де-ре-денг, —
На грохот, на гром барабана
Чудовища вод, пробуждаясь от сна,
Плывут из глубин океана.

Спрасонья акулы тянутся вверх,
Ворочая туши лениво,
И одурело таращат глаза
На небывалое диво.

И видят, что завтрака час не настал,
И, чавкая сонно губами,
Протяжно зевают; их пасть, как пила,
Усажена густо зубами.

И шнед-де-ре-денг и ди-дель-дум-дей, —
Все громче и яростней звуки!
Акулы кусают себя за хвост
От нетерпенья и скуки.

От музыки их, вероятно, тошнит,
От этого гама и звона.
«Не любящим музыки тварям не верь», —
Сказал поэт Альбиона.

И шнед-де-ре-денг и ди-дель-дум-дей, —
Все громче и яростней звуки!
Стоит у мачты мингер ван-Кэк,
Скрестив молитвенно руки.

* распорядитель танцев

«О господи, ради Христа пощади
Жизнь этих грешников черных!
Не гневайся, боже, на них, ведь они
Глупее скотов безнадзорных!

Помилуй их ради Христа, за нас
Испившего чашу позора:
Ведь если их выживет меньше трехсот, —
Погибла моя контора!»

7. АФФРОНТЕНБУРГ

(Замок оскорблений)

Прошли года, но замок тот,
Тех башен стрельчатую груду
И робкой челяди толпу
Я никогда не позабуду.

Мне чудится железный визг,
Я вижу злобный флюгер снова.
За ним следили мы дрожа,
Не смея вымолвить ни слова.

Пред тем, как вслух заговорить,
Мы долго ждали боязливо
От страха, что старик Борей
За шум окрысится брюзгливо.

Кто поумней был, тот молчал.
Там никогда не знали смеха.
Там и невинные слова
Коварно искажало эхо.

В саду у замка старый сфинкс
Дремал на мраморе фонтана,
И мрамор вечно был сухим,
Хоть слезы пил он непрестанно,

Проклятьем заклеянный сад!
Там нет лужайки, нет аллеи,
Где я не лил бы горьких слез,
Где сердце не терзали змеи.

Я места бы не мог найти,
Где я не принимал бесчестий,
Где не был уязвлен одной
Из грубых или тонких бестий.

Лягушка, подглядев за мной,
Донос строчила жабе серой,
А та, набравши сплетен, шла
Шептаться с тетушкой виперой.

А тетка с крысой — две кумы,
И, спевшись, обе шельмы вскоре
Трезвонили по всей родне
О мной испытанном позоре.

Там розы дивной красоты
Цвели весной благоуханной.
Они погибли, не созрев,
Напоены отравой странной;

И бедный соловей зачах, —
Безгрешный обитатель сада,
Вздыхал он розам о любви
И умер от того же яда.

Проклятьем заклеянный сад!
Над ним злодейство тяготело.
Неизъяснимый ужас там
И в полдень леденил мне тело.

Зеленый призрак мне грозил,
Он издевался надо мною,
И плач, и стоны, и мольбы
В кустах мне чудились порою.

В конце аллеи был обрыв,
Где не стесненное в напоре
В часы прилива, в глубине
Играло Северное море.

Там уходил я в царство грез,
Там были беспредельны дали,
Тоска, отчаянье и гнев
Во мне, как море, клокотали.

Отчаянье, тоска и гнев,
Как волны, шли бессильной сменой,
Как эти волны, что утес
Дробил, взметая жалкой пеной.

За вольным бегом парусов
Следил я жадными глазами,
Но замок проклятый меня
Держал железными тисками.

8. К ЛАЗАРИЮ

I

Брось свои иносказанья
И гипотезы святые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

Кто виной? Иль воле бога
На земле не все доступно?
Или он играет нами? —
Это подло и преступно!

Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забудут нам рта землю...
Да ответ ли это, полно?

II

Висок мой — вся в черном — госпожа
Нежно к груди прижала.
Ах! Проседи легла межа,
Где соль ее слез бежала.

Я ввергнут в недуг, грозит слепота, —
Вот как она целовала!
Мозг моего спинного хребта
Она в себя впивала.

Отживший прах, мертвец теперь я,
В ком дух еще томится —
Бьет он порой через края,
Он рвет и мечет и злится.

Проклятья бессильны! И ни одно
Из них не свалит мухи.
Неси же свой крест — роптать грешно,
Похнычь, но в набожном духе.

III

Ах, как медлительно ползет
Ужасная улитка — время!
А я недвижно здесь лежу,
Влача болезни тяжкой бремя.

Ни солнца ни надежды луч
Не проскользнет в мое жилище;
Я знаю; мрачный мой приют
Заменит мне одно кладбище.

Быть может, я давно уж мертв,
И лишь мечты воображенья,

Ночные призраки одни,
Творят в мозгу свое броженъе.

Не духи ль это древних лет
В лучах языческого света?
И местом сборища теперь
Им череп мертвого поэта.

И страшно-сладкую игру,
Безумный пир ночной ватаги,
Поэта мертвая рука
Передает потом бумаге.

IV

Цветы цвели необозримо
В моем пути, но было мне
Срывать их — лень, и мчался мимо
Я на надменном скакуне.

Теперь, смертельной хворью мучим,
Теперь, когда мне гроб готов,
Я истомлен дыханьем жгучим
В былом отвергнутых цветов.

Фиалки рдяной полыханье
Жжет мозг назойливой мечтой;
Зачем в те дни не отдал дань я
Неистовой девчонке той?

Одна утеха: воды Леты
Еще способны мне помочь,
И канет вздорный пыл поэта
В забвенья сладостную ночь.

V

Я наблюдал их смех, их взоры,
Их устремленный к смерти путь,
Их плач я слышал, их укоры,
И я не трогался ничуть.

За их гробами шел я следом,
Скорбел у их могильных плит,
И все ж, не скрою, за обедом
Вновь обретал я аппетит.

Зато теперь с каким томленьем
О тех усопших мыслю я!
Каким негадным влеченьем
Воспламенилась грудь моя!

В воспоминании — всех прочих
Мне слезы Юленьки больней...
С какой тоскою дни и ночи
Стремлюсь я и взываю к ней!

Цветок тот мертвый вижу ясно
Я сквозь ночей моих кошмар,
И мнится мне: она согласна
Посмертно утолить мой жар.

О призрак ласковый, украдкой
Ко мне прииникни ты! — Ко рту
Прижми свой рот и сделай сладкой
Часов последних маяту!

VI

Была ты девушкой, была прекрасна,
Мила, но холодна. Я ждал напрасно,
Что сердце у тебя вот-вот проснется
И пламенным восторгом изольется —

Восторгом перед тем, над чем повсюду
Глумятся низко проза и рассудок,
Но что томит, влечет и жжет от века
Мечтателя, поэта, человека.

Вдоль рейнских вод, что дышат виноградом,
Мы в летний день с тобой бродили рядом;

Смеялось солнце нам, и, вечно милый,
Запах цветов струился с нежной силой.

И розы и пурпурные гвоздики
Жгли нас огнем, в своих лобзаньях дики,
И мнилось даже — в жизненном избытке
О счастье размечтались маргаритки.

Но ты спокойно, чинно шла со мной
В атласе, искрящемся белизной, —
Точь-в-точь — портрет, что вывел кистью Нетчер;
Корсет скрывал не сердце ведь, а глетчер.

VII

Пусть ты оправдана вполне
Судилицем рассудка целым.
Пусть там решили — не грешна
Ни словом крошка и ни делом;

О да, недвижна и нема,
Смотрела ты, как я сгораю, —
Огня ты не раздула, нет.
Но что преступна ты, я знаю.

Какой-то голос в тьме ночей
Твердит, что ты меня сгубила,
Что злою волею твоей
Мне уготована могила;

Он доказательств сыплет ряд,
Улик разматывает нити, —
Но утро сны уводит прочь, —
И исчезает обвинитель.

И он и домыслы его
Уходят в сердца мрак унылый,
И непреложно лишь одно:
Что я стою перед могилой.

VIII

Как молния во тьме провала,
Твое письмо блеснуло мне;
Что я на дне, на страшном дне,
Мне эта вспышка показала.

Меня жалеешь даже ты,
Ты, кто мне в жизненной пустыне
Явилась мраморной богиней
Во льду безмолвной красоты...

Так вот как жалок я, творец!
Ведь даже в ней слова рождаются,
Росинки слез по ней струятся,
Я камень тронул наконец!

И разве это не удар?
О если б тронулся ты тоже,
Мне дал спокойствие, о боже,
И кончил тягостный кошмар!

IX

Женщина и истый сфинкс
С виду в сущности едины;
Для чего болтать про лапы,
Про какой-то корпус львиный?

Словно смерть, непроницаем
Сфинкс тот истый. И не властен
Разрешить его загадку
Муж и первенец Иокастин.

К счастью, собственной их тайной
Не владеют наши дамы;
Будь тут истина открыта,
Все погибли б навсегда мы.

X

Три пряжи сидят у распутья;
Ухмылками скалясь,
Кряхтя и печалась,
Они прядут — и веет жутью.

Одна сучит початок,
Все нити кряду
Смочить ей надо;
Так что в слюне у нее недостаток.

Другой мотовилка покорна:
Направо, налево
И не без напева;
Глаза у карги — воспаленной горна.

В руках у третьей парки —
Ножницы видно,
Поет панихидно.
На остром носу — подобие шкварки.

О, так покончи же с ниткой
Проклятой кудели,
Дай средство от хмеля
Страшного жизненного напитка!

XI

Я не стремлюсь быть в райских кущах —
Войти в блаженные края:
Там женщин более цветущих,
Чем на земле, не встречу я.

Мне ангел бы и в лучшем виде
Не заменил жены моей;
А петь псалмы, на тучках сидя, —
Я не любитель сих затей.

Нет, лучше, думаю, господь, я —
 Мне на земле б остаться все ж,
 Лишь дай мне вновь окрепнуть плотью
 Да капиталец приумножь.

Конечно, говорят недаром,
 Что грешен мир наш, но, прости —
 Я так привык по тротуарам
 Через долину слез брести.

Что суматошно в этом мире,
 Мне нипочем, — я б вечно мог
 Сидеть с женой в своей квартире,
 Облекшись в туфли и шлафрок.

Не разлучай нас! Безмятежно
 Душой, как музыку, я пью
 Моей болтуни щебет нежный.
 Я кроткий взгляд ее люблю!

Здоровья, боже, да денегжатонок
 Прошу я — больше ничего!
 И дай прожить мне дней остаток
 С моей женой *in statu quo!**

9. СТРЕКОЗА

Плясала раз стрекозка
 Над ручейком, егозка;
 Тут — пируэт, там — антраша, —
 Плясунья, шалунья — как хороша!

Глядят кругом юнцы-жучки,
 Совсем очарованы, дурачки:
 «Ах, талия в эмали!
 Ах, синий наряд из вуали!»

* в том же положении!

И не один юнец-жучок
Свихнул свой крошечный мозжечок.
Жужжа влюбленно, ей каждый франт
Сулит Голландию и Брабант.

Смеется красотка им в ответ:
«Голландия вместе с Брабантом? Нет!
Вот вы любезны будьте
И огонька мне добудьте.

Моя кухарка хромая
Рожает, — готовлю сама я.
А в печке потухли как раз угли:
Искорку мне б достать вы могли?»

Плутовка закончила речь, и юнцы
Жуки все — порх! И летят гонцы
Искать огня. Их родимый лес
Давно уже из глаз исчез.

Вдруг — свет сквозь зелень пышной ветки:
Должно быть, свечи горели в беседке.
Влюбленных ведь ослепляет страсть, —
Немудрено и в огонь попасть.

С треском сожрали горящие свечки
Жуков и влюбленные их сердечки.
А если кто уцелел из них, —
Лишился крылышек своих.

О, горе жуку, что в ярком огне
Сжег крылышки! В чужой стране
Он должен, как червь, пресмыкаться рядом
Со всяким вонючим и склизким гадом.

Он ропщет: «Дурной компании хуже
Нет ничего, на чужбине к тому же!
Со всякой тут нечистью прямо лбом
Ты сталкиваешься, даже с клопом!

А в грязь попади *persona grata* *, —
 И клоп сейчас запанибрата.
 Об этом Вергилия скорбел ученик,
 Поэт, что изгнание и ад постиг.

С тоской вспоминаю о прежней жизни,
 Когда, окрыленный, блистал я в отчизне,
 В эфире порхал, был весел,
 На подсолнухах куролесил.

Из чашечек цветочных пил,
 В кругу хорошем принят был,
 Дружил с изысканным мотыльком,
 С артисткой-цикадой был я знаком.

О бедные крылья, сгорели вы!
 На родину я не вернусь, увы!
 Я стал червем, подохну, жалкий,
 Сгнить на чужой придется свалке.

Ах, надо было за версту
 Мне облететь кокетку ту,
 Не видеть бь тонкой тальи
 Красотки, лживой каналы!»

10. ВОЗНЕСЕНИЕ

На смертном ложе плоть была,
 А бедная душа плыла —
 Вне суеты мирской, убогой —
 Уже небесною дорогой.

Там, постучав в ворота рая,
 Душа воскликнула, вздыхая:
 «Открой, о Петр, ключарь святой!
 Я так устала от жизни той...

Понежиться хотелось мне бы
 На шелковых подушках неба,

* почтенная особа

Сыграть бы с ангелами в прятки,
Вкусить покой блаженно-сладкий!»

Вот, шлепая туфлями и ворча,
Ключами на ходу бренча,
Кто-то идет, и в глазок ворот
Сам Петр глядит, седобород.

Ворчит он: «Сброд повадился всякий,
Бродячие псы, цыгане, поляки,
А ты открывай им, ворам, эфиопам!
Приходят врозь, приходят скопом,
И каждый выложит сотни причин, —
Пусти его в рай, дай ангельский чин...
Пошли, пошли! Не для вашей шайки,
Мошеники, висельники, попрошайки,
Построены эти хоромы господни, —
Вас дьявол ждет у себя в преисподней!
Проваливайте поживее! Слыхали?
Вам место в чортовом пекле, в подвале!..»

Брюзжал старик, но сердитый тон
Ему не давался. В конце концов он
К душе обратился вполне сердечно:
«Душа, бедняжка, ты-то, конечно,
Не пара какому-нибудь шалопаю...
Ну, ну! Я просьбе твоей уступаю:
Сегодня день рожденья мой,
И — пользуйся моей добротой.
Откуда ты родом? Город? Страна?
Затем ты мне сказать должна,
Была ли ты в браке: часто бывает,
Что брачная пытка грехи искушает:
Женатых не жарят в адских безднах,
Не держат подолгу у врат небесных».

Душа отвечала: «Из прусской столицы,
Из города я Берлина. Струится

Там Шпре-речонка, — обычно летом
Она писсуаром служит кадетам.
Так плавно течет она в дождь, эта речка!..
Берлин вообще — недурное местечко!
Там числилась я приват-доцентом,
Курс философии читала студентам
И там на одной институтке женилась,
Что вовсе не по-институтски бранилась,
Когда не бывало и крошки в дому.
Оттого и скончалась я и мертва потому».

Воскликнул Петр: «Беда! Беда!
Занятие это — ерунда!
Что? Философия? Кому
Она нужна, я не пойму!
И недоходна ведь и скучна,
К тому же ересей полна;
С ней лишь сомневаешься да голодаешь
И к чорту, в конце концов, попадаешь.
Наплакалась, верно, и твоя Ксантупа
Немало по поводу постного супа,
В котором — признайся — хоть разок
Попался ей золотой глазок?
Ну, успокойся. Хоть, ей-богу,
Мне и предписано очень строго
Всех, причастных так иль иначе
К философии, тем паче —
Еще к немецкой, безбожной вашей,
С позором гнать отсюда взáшей, —
Но ты попала на торжество,
На день рожденья моего,
Как я сказал. И не хочется что-то
Тебя прогонять, — сейчас ворота
Тебе отпру...
Живей — ступай!..
Теперь, счастливица, гуляй
С утра до вечера по чудесным
Алмазным мостовым небесным

Фланируй себе, мечтай, наслаждайся,
Но только — помни, не занимайся
Тут философией, — хуже огня!
Скомпрометируешь страшно меня.
Чу! Ангелы поют. На лике
Изобрази восторг великий.
А если услышишь архангела пенье,
То вся превратись в благоговенье.
Скажи: «От такого сопрано — с ума
Сошла бы и Малибран сама».
А если поет херувим, серафим,
То поусердней хлопай им,
Сравнивай их с синьором Рубини,
И с Марио и с Тамбурини.
Не забудь величать их «eccellenze» *,
Не преминь преклонить коленце.
Попробуйте, в душу певцу залезьте, —
Он и на небе чувствителен к лести!
Впрочем, и сам дирижер вселенной
Любит внимать, говоря откровенно,
Как хвалят его, господа бога,
Как славословят его премного
И как звенит псалом ему
В густейшем ладанном дыму.

Не забывай меня. А надоест
Тебе вся роскошь небесных мест, —
Прошу ко мне; сыграем в карты,
В любые игры, вплоть до азартных:
В «ландскнехта», в «фараона»... Ну,
И выпьем... Только, *entre nous* **,
Запомни: если мимоходом
Бог тебя спросит, откуда ты родом
И не Берлина ли ты уроженка,
Скажи лучше — мюнхенка или венка».

* ваши сиятельства

** между нами

41. РОЖДЕННЫЕ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

Ты плачешь, смотришь на меня,
Скорбишь, что так несчастен я.
Не знаешь ты в тоске немой,
Что плачешь о себе самой.

Томило ли тебя в тиши
Сознанье смутное души,
В твои прокрадываясь сны,
Что мы друг другу суждены?
Нас вместе счастье ожидало,
На скорбь разлука осуждала.

В скрижали вписано судьбою,
Чтоб сочетались мы с тобою.
Ясней бы ты себя сознала,
Когда б на грудь ко мне припала;
Тебя б из косности растенья
Возвел на высшую ступень я,
Чтоб ты, ответив поцелую,
В нем душу обрела живую.

Загадки решены навек.
В часах иссяк песчинок бег.
Не плачь — судьба предрешена:
Уйду, увянешь ты одна.
Увянешь ты, не став цветком,
Угаснешь, не пылав огнем,
Умрешь, тебя охватит мгла,
Хоть ты и прежде не жила.

Теперь я знаю: всех дороже
Была мне ты. Как горько, боже,
Когда в минуту узнаванья
Час ударяет расставанья,
Когда, встречаясь на пути,
Должны мы в тот же миг «прости»

Сказать навек! Свиданья нет
Нам в высях, где небесный свет.
Краса твоя навек завянет;
Она пройдет, ее не станет.
Судьба иная у поэта:
Он не вполне умрет для света,
Не ведая уничтоженья,
Живет в стране воображенья;
То — Авалун, мир фей чудесный.
Прости навеки, труп прелестный!

12. ФИЛАНТРОП

Жил брат, сестру имел он,
Сестра была нищая, брат — богач.
Сестра сказала брату:
«Кусочек хлеба дай!»

Богач ответил нищей:
«Не приставай сейчас, —
Чинам из верховной палаты
Я нынче даю обед.

Один любит суп черепаший.
Другой же — ананас.
А третий — любитель фазанов
И трюфелей Перигор.

Четвертый ест лишь семгу,
А пятый жует лосося,
Шестой — все пожирает,
А сколько он пьет притом!..»

И бедная бедняжка
Голодной пришла домой,
Легла на солому, вздохнула —
И тихо умерла.

Мы все под смертью ходим:
И брата-богача
Хватила смерть косою,
Как и сестру его.

А брат богатый, видя,
Что час его пришел,
Зовет нотариуса
Духовную писать.

Приличный капиталец
Он отписал попам,
На школы и на постройку
Музея редких зверей.

Великий тот благодетель
Порядочный куш отвалил
В Союз обращенья евреев,
В институт глухонемых.

Для церкви святого Стефана
Он колокол завещал
Из лучшего сплава, а весом —
Центнеров на пятьсот,

Чтоб колокол огромный
И денно и ночью гудел,
Чтоб он незабвенного мужа
Немолчно восхвалял.

Чтоб медный язык славословил
Его благие дела
Для города и сограждан,
Всех исповеданий притом.

О ты, благодетель великий!
О благодеяньях твоих
Как при жизни, так и по смерти,
Тот колокол будет вещать...

Великолепно и пышно
Его погребенье прошло;
Благоговейно глазела
На эту роскошь толпа.

На черной колеснице,
Похожей на балдахин,
Султанами черных перьев
Украшен, покоился гроб.

Весь был серебром обит он,
В серебряной парче.
На черном фоне эффектно
Поблескивало серебро.

Везла катафалк шестерка
Коней, и попоны их,
Как траурные балахоны,
Свисали вниз до копыт.

За гробом, в ливреях черных,
Служители шли, держа
Платки, белее снега,
У красных от горя лиц.

Затем городские степенства
Шествовали, а там —
Парадных карет вереница
Черной змеей ползла.

На это погребенье,
Само собою, пришли
И чины верховной палаты,
Но был неполон комплект:

Отсутствовал тот любитель
Фазанов и трюфелей:
Он незадолго умер
От заворота кишок.

13. КАПРИЗЫ ВЛЮБЛЕННЫХ

(Истинная история, вновь рассказанная по старинным документам
и переложенная в изящные немецкие стихи)

Унылый жук, примостясь на забор,
С любимой мухой вел разговор:

«Сестра по духу, будь мне, муха,
Женой, — он шепчет мухе в ухо. —

Скажи, чем я тебе не муж?
Брюшко из золота, к тому ж —

Какая спина! Нет подобных спин:
Смарагд в ней блещет, горит рубин...» —

«Что? Ведь не так глупа уж я,
Чтобы избрать жука в мужья,

А золото и драгоценности — нет!
Ведь не в богатстве счастья секрет.

Я идеала жажду лишь —
Ведь муха я — noblesse oblige!»*

Жук улетел, огорчен несказанно,
А муха принять решила ванну.

«Эй, пчелка! Ах, служанки эти!
Ты мне нужна при туалете.

Намыль мне нежную спину, бока:
Иду я замуж за жука.

Отличная, в сущности, партия! Что ж?
Жука интересней не найдешь.

* благородство обязывает!

Спина его — роскошь, нет краше спин:
Смарагд в ней блещет, горит рубин!

Живот золотой и лицом благороден, —
С ума я сведу подружек-уродин!

Живо, пчелка, меня причеши ты,
И зашнуруй меня, и надуши ты;

Натри меня мускусом, камеристка, —
Лавандой ноги мне обрызгай,

Чтобы нисколько не вонять,
Когда меня милый захочет обнять.

Хлопочут уже шаферицы-стрекозы,
Меня поздравляют, становятся в позы,

Вплетают в свадебный мой венец
Они уже флёрдоранж наконец.

И музыканты здесь — всё, как надо;
Явилась и примадонна цикада.

Сверчок тут и шмель и комар поджарый:
Ударят в литавры, задуют в фанфары.

Пусть развлекают на свадьбе моей
Слетевшихся пестрокрылых гостей.

Родня расфранченная, много знакомых
И просто случайных, чужих насекомых.

Вот тетки, кузины — саранча да осы, —
Встречают их тушем, приветы, распросы.

Пришел весь в черном пастор-крот:
«Пора начинать, заждался народ».

Звон колокольный — бим-бам, бим-бом...
Что ж это с милым женишком?..»

Бим-бом, бим-бам — звон колокольный...
Жених улетает дорогой окольной.

Звон колокольный — бим-бам, бим-бом...
Что ж это с милым женишком?..

Жених меж тем в печали жгучей
Сидел на далекой навозной куче.

Вот так он просидел лет семь,
Покуда муха сгнила совсем.

14. МИМИ

«Я не кошечка-мешанка,
Не мурлычу у окошка,
На высоких крышах я —
Независимая кошка.

В ночи летних снов, на крыше,
Где в прохладе я мечтаю,
Музыка во мне урчит —
В песне чувство изливаю».

Так она твердит, и звуки,
Страстью дикою объаты,
Рвутся из груди, маня
Всех котов, что не женаты.

Все коты, что не женаты,
К ней стремятся петь дуэты,
То мяуча, то мурлыча,
Пламенем любви согреты.

Это ведь не виртуозы
В поисках за гонораром —
Чистому искусству все
Искони служили с жаром.

Инструментов им не нужно,
Весь оркестр — они же сами;
Барабан у них — живот,
А трубят они носами.

Запевают хором все;
Это — гимны, интермеццо,
Это — словно фуги Баха
Или Гвидо из Ареццо.

Звуки бешеных симфоний —
Как Бетховена каприччо;
Превзошли и Берлиоза,
То мяуча, то мурлыча.

Сколь чудесна власть напева!
Бесподобных звуков сила
Даже небо потрясает,
И бледнеют в нем светила.

Услыхав поток волшебных,
Чудодейственных созвучий,
В небесах ночных Селена
Лик окутывает тучей.

Слыша песнь Мими, одна лишь
Примадонна Филомела
Недовольно морщит нос —
В ней душа оледенела!

Все равно! Поет капелла
(Пусть завидует синьора!)
До поры, когда блеснет
Розовым лучом Аврора.

15. ДОБРЫЙ СОВЕТ

Брось смущенье, брось кривлянье,
Действуй смело, напролом,
И получишь ты признание
И введешь невесту в дом.

Сыпь дукаты музыкантам, —
Не идет без скрипок бал, —
Улыбайся разным тантам,
Мысля: чорт бы вас побрал.

О князьях толкуй по чину,
Даму также не тревожь;
Не скупись на солонину,
Если ты свинью убьешь.

Коли ты сдружился с чортом,
Чаще в кирку забегай,
Если встретится пастор там,
Пригласи его на чай.

Коль тебя кусают блохи,
Почешись и не скрывай;
Коль твои ботинки плохи, —
Ну, так туфли надевай.

Если суп твой будет гадость,
На супругу не ропщи,
Но скажи с улыбкой: «Радость,
Как прекрасны эти щи».

Коль жена твоя по шали
Затоскует, — две купи,
Накупи шелков, вуалей,
Медальонов нацепи.

Ты совет исполни честно
И узнаешь, друг ты мой,
В небе царствие небесно,
На земле вкусишь покой.

16. ВОСПОМИНАНИЕ О ГАММОНИИ

Бодро шествует вперед
В чинных парах дом сирот;
Сюртучки на всех атласны,
Ручки пухлы, щечки красны.
О прелестные сироты!

Все растрогано вокруг,
Рвутся к кружке сотни рук,
В знак отцовского вниманья
Льются щедрые даянья.
О прелестные сироты!

Дамы чувствами горят,
Деток чмокают подряд, —
Глазки, щечки милых крошек! —
Дарят сахарный горошек.
О прелестные сироты!

Шмулик, чуть стыдась, дает
Талер в кружку для сирот
И спешит с мешком бодрее, —
Сердце доброе в еврее.
О прелестные сироты!

Бюргер, вынув золотой,
Воздевает, как святой,
Очи к небу — шаг не лишней —
На него ль глядит всевышний?
О прелестные сироты!

Нынче праздничный денек:
Плотник, бондарь, хлебопек,

Слуги, — все хлебнули с лишком, —
Пей во здравие детишкам!
О прелестные сироты!

Горожан святой оплот —
Вслед Гаммония идет:
Гордо зыблется громада
Колоссальнейшего зада.
О прелестные сироты!

В поле движется народ —
К павильону у ворот;
Там оркестр, флажки вдоль зала,
Там нажмутся доотвала
Все прелестные сироты.

За столом они сидят,
Кашку сладкую едят,
Фрукты, кексы, торты, пышки,
Зубками хрустят, как мышки,
Те прелестные сироты!

К сожаленью, за окном
Есть другой сиротский дом,
Где живется крайне гнусно,
Где свой век проводят грустно
Миллионы, как сироты.

В платьях там единства нет,
Лишь для избранных обед,
И попарно там не ходят.
Скорбно в одиночку бродят
Миллионы, как сироты.

47. РАЗБОЙНИК И РАЗБОЙНИЦА

Пока на печке обнимает
Меня Лаура, — лис лихой,
Супруг, достав бумажник мой,
Стянуть кредитку успеваает.

Карман мой пуст. Так ложь, Лаура, —
Твой поцелуй и нежный взгляд?
Но что есть правда? — Так Пилат
Спросил и руки вымыл хмуро.

Я скоро злобный свет покину,
Пороков полный, злобный свет.
Коль у бедняги денег нет,
Он умер уж наполовину.

К вам, чистые, к вам, люди чести,
Я устремлен душой сейчас.
Всё в царстве права есть у вас.
Кто стал бы красть на вашем месте?

18. ПОЭТИКО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ КОТОВ

Музыкальный союз молодых котов
Собирался на крыше у башни
Сегодня ночью — однако не с тем,
Чтоб строить куры и шашни.

«Сон в летнюю ночь» не в пору теперь;
Что проку в любовном гимне,
Когда в желобах замерзла вода
И холод свирепствует зимний?

Притом заметно, что новый дух
Овладел породой кошачьей;
Особенно все молодые коты
Занялись высокой задачей.

Минувшей фривольной эпохи сыны
Испустили дыханье земное;
В искусстве и в жизни новый расцвет —
Кошачьей веет весной.

Музыкальный союз молодых котов
Стремится назад, к примитивной,
Бесхитростной музыке ранних времен,
К простой и кошацье-наивной.

Поэзии-музыки хочет он,
Рулад, позабытых ныне,
Вокально-инструментальных стихов,
Где музыки нет и в помине.

Он хочет, чтоб в музыке ныне царил
Безраздельно свободный гений,
Пускай бессознательно, но легко
Достигающий высшей ступени.

Он гений славит, который ничуть
От природы не отделился,
Не ставит ученость свою напоказ
И впрямь ничему не учился.

Такова программа союза котов,
И, стремясь подняться все выше,
Он дал свой первый зимний концерт
Сегодня ночью на крыше.

Но как воплотилась идея в жизнь —
Нельзя подыскать выраженья.
Кусай себе локти, мой друг Берлиоз,
Что ты не слышал исполенья.

То был поистине адский концерт,
Как будто мотив галона
Три дюжины пьяных волынщиков вдруг
Заиграли под свист и топот.

То был такой несказанный гам,
Как будто в ковчеге Ноя
Животные хором все в унисон
Потоп воспевали воя.

О, что за мяуканье, стоны, визг!
Коты все в голос орали,
А трубы на крышах вторили им,
Совсем как басы в хорале.

Всех чаще слышался голос один —
Пронзительно, томно и вяло,
Как голос дивной Зонтаг, когда
Свой голос она потеряла.

Ужасный концерт! По-моему, там
Псалом воспевали великий
В честь славной победы, которую бред
Над разумом празднует дикий.

А может быть, союзом котов
Исполнялась та кантата,
Что венгерский крупнейший пианист сочинил
Для Шарантона когда-то.

Окончился шабаш, лишь когда
Заря, наконец, появилась;
Кухарка, что плод под сердцем несла,
В неположенный срок разрешилась.

Она потеряла память совсем,
Как будто спятив от чада,
И вспомнить не может, кто был отец
Рожденного ею чада.

То Петр? Или Павел? Лиза, ответь.
Иль, мбжет быть, неизвестный?
С блаженной улыбкой Лиза твердит:
«О Лист, о кот мой небесный!»

19. ГАНС БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ

Прощался с женой безземельный Ганс:
«Я призван к высокой заботе,
На поле ином, иных козлов
Придется мне бить на охоте.

Возьми мой охотничий рог — на нем
Подудишь и разгонишь ты скуку;
Ведь дома еще на почтовом рожке
Играть ты постигла науку.

И пса моего я оставлю тебе,
Он в замке сторож примерный;
Меня ж охранит мой немецкий народ,
Собачьему нраву верный.

Они предлагают мне царский венец;
Любви их — не сыщешь мерки:
Портрет мой носят они на груди,
На трубке и табакерке.

Великий, немцы, вы народ —
Из дурней, но в деле спорых!
Никак не скажешь, глядя на вас,
Что выдумали вы порох.

Я не император вам буду — отец,
И к счастью внесу вас из праха.
О дивная мысль! Я горд от нее,
Как если б был матерью Гракхам.

Не разумом буду, а только душой
Народом моим я править:
Не дипломат я и не могу
В политике всякой лукавить.

Ведь я — охотник, природы сын,
В лесу я постиг все науки —

Средь серн и вальдшнепов, коз и свиней;
Мне чужды словесные штуки.

Не стану печатать я громких афиш
И лозунгов в виде приманки;
Скажу я: народ мой, лососей нет —
Довольствуйся ж ныне таранкой.

И если плохой я монарх — замени
Паршивцем ты первым встречным;
Мне хватит и без тебя на прокорм —
В Тироле я всем обеспечен.

Вот так скажу я: простимся, жена, —
Нельзя мне больше мешкать;
От тестя прибыл уже почтальон,
Стоит наготове тележка.

Дорожную шапку живее давай —
При черно-золото-красном банте;
В венце ты скоро увидишь меня
И в древней кесарской мантии.

Да, ты в плювиале увидишь меня —
До пяток в пурпуре ярком;
Императору Отто некогда был
Он от султана подарком.

Далмáтику я надену под ним,
Каменьями шитую всюду, —
Там выткано много чудесных зверей,
И львы и также верблюды.

И ризой грудь я покрою свою
С эмблемою почетной:
На желтом поле черный орел, —
Наряд отменно добротный,

Прощай! Потомство скажет, что я
 По заслугам был коронован.
 Как знать? А может, потомство как раз
 Обо мне не скажет ни слова».

20. ВОСПОМИНАНИЕ О ДНЯХ ТЕРРОРА
 В КРЕВИНКЕЛЕ

«Мы, бургомистр, и наш сенат,
 Блюдя отечески свой град,
 Всем верным классам населенья
 Сим издаем постановление.

Агенты-чужеземцы суть
 Те, кто средь нас хотят раздуть
 Мятеж. Подобных отщепенцев
 Нет среди местных уроженцев.

Не верит в бога этот сброд;
 А кто от бога отпадет,
 Тому, конечно, уж недолго
 Отпасть и от земного долга.

Покорность — первый из долгов
 Для христиан и для жидов,
 И запирают пусть поране
 Ларьки жида и христиане.

Случится трем сойтись из вас, —
 Без споров разойтись тотчас.
 По улицам ходить ночами
 Мы предлагаем с фонарями.

Кто смел оружие сокрыть —
 Обязан в ратушу сложить
 И всяких видов снаряженье
 Доставить в то же учрежденье.

Кто будет громко рассуждать,
Того на месте расстрелять;
Кто будет в мимике замечен,
Тот будет также изувечен.

Доверьтесь смело посему
Вы магистрату своему,
Который мудро правит вами;
А вы помалкивайте сами».

21. АУДИЕНЦИЯ

(Старинное сказание)

«Я в нильских водах, как фараон,
Детей не топил бессердечно;
Я также и не Ирод-тиран,
Не детоубийца, конечно.

Побыть хочу я, как Христос,
В кругу детворы невинной;
Пусть малых деток ко мне приведут
Со швабским большим детиной...»

Так молвил король; камергер побежал
И вскоре возвратился
С тем самым швабом, что к нему
В лакеи определился.

Король сказал: «Ты действительно шваб?
Стыда в этом нет, младенец!» —
«Да, вы угадали, — ответил шваб, —
Я швабский уроженец». —

«Не приходишь ли ты от той
Семерки швабов известной?» —
«Нет, я одним только швабом рожден,
А не семерыми совместно». —

«Как нынче на клецки у вас урожай?» —
Спросил король сердобольный. —
«Польщен вопросом, — ответил шваб, —
Мы клецками довольны». —

«Скажи, есть великие люди еще
У швабского народа?» —
«Великих немного, — ответил шваб, —
На толстых нынче мода». —

«А много ль ваш Менцель, — спросил король, —
Еще оплеух нахватался?» —
«Я тронут вниманьем, — ответил шваб, —
Он с прежними не расквитался».

Король сказал: «Не так ты глуп,
Как выглядишь, в самом деле». —
«А в этом как раз виноват домовой,
Подменивший меня в колыбели». —

«Швабы славились, — молвил король, —
Всегда как патриоты;
Какие ж тебя из отчизны твоей
Сюда привели заботы?» —

«От кислой капусты и репы меня
Тошнило уже в отчизне.
Варила бы мне мясо мать, —
Не стал бы менять я жизни». —

«Имеешь ли просьбы?» — сказал король,
И шваб, преклонив колени:
«Верните немцам свободу, о сир! —
Воскликнул в умиленье. —

Человек свободен, природа ему
Ярма не надела на плечи.
Верните народу немецкому, сир,
Его права человечьи!..»

Красивая вышла сцена: король
Вскочил, глубоко потрясенный,
А шваб рукавом вытирал глаза
У ног монаршей персоны.

«Прекрасный бред, — сказал король. —
Прощай, образумься немного!
Но так как лунатик ты, — дам я тебе
Двух провожатых в дорогу.

Два верных жандарма доставят тебя
Отсюда до границы.
Прощай! Барабанная дробь гремит —
Мне время к параду явиться...»

Таким сердечным вышел финал
Сердечнейшей из аудиенций.
Но впредь король навсегда запретил
Водить к нему младенцев.

22. КОБЕС I

Был жаркий год сорок восьмой,
Парламент германский в то время
Свои занятия перенес
Во Франкфурт старый, в Ремер.

И в Ремере стала являться тогда
Та «Белая незнакомка»,
Зловещий призрак, странный дух;
Прозвали его «Экономка».

Являлась она по ночам, говорят,
Но только в те ночи являлась,
Когда милым немцам наглушить
Особенно удавалось.

Я сам ее видел. В безмолвье ночном
Бродила Белая дама
По залам безлюдным, где было полно
Средневекового хлама.

Брела со связкою ключей,
Держала светильник медный;
Шкапы и сундуки вдоль стен
Отпирала рукою бледной.

Хранятся регалии кесарей в них:
Там Золотая булла,
Корона, держава и скипетр, — гнильем,
Трухой оттуда пахнуло.

Истлевшие мантии королей,
Пурпурная ветошь. Вот здесь он
Хранится, империи гардероб, —
Сплошная ржавчина, плесень!

На все это глядя, трясла головой
Печально Экономка...
«Какая гадость, что за вонь! —
Она воскликнула громко. —

Мышиным дерьмом пропахло все
Былое великолепье,
И насекомые кишат
В величественном отрепье.

Как видно, и этот горностаи
Коронационный, старинный,
Ремерским кошкам долго служил
Родильною периной.

Не выколотишь этой дряни! Дела
Императоров будущих плохи:
По гроб их жизни обсыплют их
На коронации блохи.

А у монархов зуд начнись —
Зачешутся также народы.
О немцы! Боюсь, что наплачетесь вы
От блох монаршей породы.

Да ну их, впрочем, монархов и блох!
Истлело тряпье дорогое,
Прогнило, — не те у нас времена,
И платье нужно другое.

Сказал справедливо немецкий поэт
Барбароссе в Киффгейзере старом:
«Как я убежден, императоры нам
Теперь не нужны и даром!..»

А если самодержавье вам
Столь необходимо, — тогда вы,
Любезные немцы, искать не должны
В монархе ума и славы.

Не выбирайте патриция,
А выберите плебея,
Ни льва, ни лисицу — а существо,
Которое всех глупее.

Вот Кобес, сын Колония, —
В нем и на грош ума нет.
Он в глупости гениален почти, —
Он немцев не обманет.

Чурбан всегда наилучший монарх, —
На басни Эзопа могу вам
Сослаться; чурбан лягушек не жрет,
Как журавль предлинным клювом.

Не станет Кобес тираном, — он
Ни Олоферн, ни Нерон:
Не люто-античное сердце в нем,
А нежное, стиля модерн.

Спесь торгашей отвергла его,
Но он, в объятых илотов,
Мастеровых, оскорбленье забыл,
Признание невежд заработав.

Был избран ремесленным братством он,
Сей Кобес, в златоусты;
Их корочку с ними он братски делил,
Кадили они ему густо.

Как не гордиться тем, что он —
Без университетов —
Писал книжонки, из головы,
Не нюхав факультетов!

Да, сам невежество свое
Он приобрел. Не скован
Чужой культурой, наукой чужой, —
Себе не свихнул мозгов он.

Равно и на дух его не повлиял
Ничуть абстрактный метод
Всей философии. Он — это он,
Характер — Кобес этот!

Стереотипная слеза
Сверкает во взоре дивном,
И глупость на его губах
Осела пластом массивным.

Болтнет — всплакнет, всплакнет — болтнет,
Речь его — длинноуха;
Разрешилась ослом после этих речей
Некая дама, по слухам.

Книгописанью, вязанью чулок
Отдавая часок свободный,
Чулкам своим он обеспечил сбыт, —
Товар его — самый модный.

Его подбивают отдаться чулкам
Аполлон и музы усердно, —
Лишь он гусиное схватит перо,
Им делается скверно.

Вязанье нам о старине говорит,
Вновь хочется функов славить,
Что в Кельне вязали чулки на посту,
Мечам не давая ржаветь.

Стань Кобес монархом, — и функов он
Вернул бы к жизни скоро;
Могла бы когорта эта служить
Его престолу опорой.

А вздумай на Францию двинуть он их,
Он взял бы реванш, вероятно:
Эльзас-Лотарингию б он отобрал,
Бургундию взял бы обратно.

Но дома будет он сидеть,
Могу вас успокоить:
Он мирной, высокой идеей пленен —
Кельнский собор достроить.

Но лишь завершит он собор наконец, —
Рассердится Кобес и грянет
На Францию с мечом в руках:
Да, он их к ответу потянет!

Эльзас-Лотарингию он отберет
И, в наказание ворами,
Отнимет Бургундию, — дайте срок
Разделаться с собором.

О немцы! Коль так заупрямились вы
И нужен монарх теперь вам,
Пусть будет он карнавальным королем,
Зовется пусть Кобесом Первым.

Пусть кельнский союз карнавальных шутов,
Звены бубенцами, правит
Его министерствами. Сам он в свой герб
Чулук самодельный вставит.

А Дрик станет канцлером — Дрик-
фон-Дрикгауз!

А Марицебиль подходит
Быть статс-фавориткой, пусть она
Монарших вшей выводит.

Свой славный, священный город Кельн
Объявит Кобес столицей,
И кельнцы торжественно плашки зажгут —
И будут веселиться.

Псы медно-воздушные — колокола
От лая счастливого треснут;
И три восточных святых царя
В капелле своей воскреснут.

Костями лязгая, выйдут они
И пустятся в пляс, ликуя:
Затянут хором «кирие
Элейсон» и «аллилуйя...»

Тут привиденье речь свою,
Захочетав, оборвало;
И эхо жутко потрясло
Пустынные, гулкие залы.

23. ЭПИЛОГ

Слава греет нас в гробу, —
Чушь! Заметь себе на лбу:
Греет больше нашу кровь
Грязной скотницы любовь,

И навоза запах люб
С поцелуем толстых губ.
И, естественно, теплой нам,
Если пуншем иль глинтвейном,
Или грогом мы с тоски
Сполоснем порой кишки
В самой аховой таверне,
Средь гуляк, воров и черни, —
По которым петля плачет,
Но еще живых, — а значит
И такой влачить удел
Сын Фетиды бы хотел.
Прав Пелид, и лучше нам
В этом мире, как рабам,
Жить в страданиях и в невзгодах,
Чем внизу на стикских водах
Быть вождем теней, при этом —
Хоть Гомером быть воспетым.

БИМИНИ



ПРОЛОГ

Вера в чудеса... увядший
Голубой цветок, — как пышно
Цвел ты в человеческом сердце
В дни, что мы сегодня славим!

Чудоверья время! Чудом
Было ты само и столько
Див являло, что никто
Больше не давался диву.

Повседневностью простою
Человек считал такие
Чудеса, чья фантастичность
Далеко превосходила

Фантастичнейшие бредни
Тронутых в уме монахов
И любые измышленья
Старых рыцарских романов.

Так, из океана, в блеске
Подвечного убора,
Всплыло раз морское чудо,
Заново рожденный мир.

Новый мир, вместивший виды
Новых бестий, человека,

Новых птиц, цветов, деревьев,
Новых мировых болезней...

Между тем и наш обычный,
Старый мир в одно мгновенье
Стал совсем неузнаваем,
Был преобразен чудесно

Достижениями духа,
Колдовского духа века,
Магией Бертольда Шварца
И алхимика почище

Майнцевского чародея,
И влияньем двух трактатов,
К нам прибывших в толкованье
Ведьмачей длиннобородых

Византии и Египта.
Книга первая зовется
Книгой Красоты, вторая ж —
Книгой Истины, и обе

Сочинил сам бог на райских
Двух наречьях и, сдается,
Как одну, так и другую
Начертал собственноручно.

Мореплавателей вечный
Жезл волшебный — крошка-стрелка
Указала им дорогу
Прямо к Индии чудесной,

К испокон веков желанной
Родине кореньев пряных,
Где в беспутном изобилье
Всю заполонили землю

Экзотичные растения,
Мхи, цветы, кусты, лианы,
Знать изысканная флора —
Те коронные брильянты,

Те сорта редчайших специй,
Чьи таинственные соки
Могут исцелить больного
Иль здорового угробить,

Судя по тому — разумный
Смешивает их аптекарь
Иль венгерец-недотёпа
Из * * * баната.

И едва приотворились
Двери в Индию, как хлынул
Океан благоуханий,
Бальзамических и страстных,

Приводящих в иступление,
Опьяняющих дурманов,
Хлынул — и ворвался в сердце,
В грудь стареющего мира...

Как под градом раскаленных
Огненных бичей, выиграла
Человечья кровь алчбою
Золота и наслаждений.

Все же лозунгом осталось
Только золото, ведь ясно:
Желтый сводник сам доставит
Все земные наслажденья.

Золото — вот было слово
Первое, что рек испанец,
Заходя в вигвам индейца...
А воды спросил он позже,

Сколько алчных оргий видеть
Мексике пришлось и Перу:
Пьяны золотом, валялись
В золоте Кортес с Пизарро.

А при штурме храма Квито
Лопец Вакка стибрил солнце,
Весу в нем двенадцать было
Центнеров, — и той же ночью

Проиграл его он в кости...
И отсюда поговорка:
«Лопец то, спустивший солнце
Перед солнечным восходом».

Хо! Немалые то были
Игроки, убийцы, воры!
(Ведь никто не совершенен)
Но зато они творили

Чудеса, куда невинней,
Чем палаческие штучки
Солдатя — от Олоферна
До Радецкого с Гайнау.

В дни чудесной веры люди
Сами чудеса творили.
В невозможное уверуй,
И осилишь невозможность...

Скепсис был лишь глупым свойствен,
Умный же не сомневался.
Перед чудесами века
Мудрецы, и те склонялись.

Странно! Из чудесной эры
Чудоверья мне сегодня
Брезжит целый день легенда
О Хуане Понс-де-Леон,

Что открыл в те дни Флориду,
Но всю жизнь стремился тщетно
Отыскать блаженный остров,
Остров счастья Бимини.

Бимини! При слове этом
Вновь мое трепещет сердце,
Вновь, из-под венков поблекших,
Грезы юности угасшей

На меня печально смотрят,
И умолкшие навеки
Соловьи с былым надрывом
Нежные выводят трели...

Тут рванулся я в испуге,
Двинув членами больными
Так, что треснули мгновенно
Швы моей дурацкой куртки,

Но в конце концов я фыркнул, —
Мне почудилось, что томно
И забавно попугаи
Прокричали: «Бимини!»

«Фея мудрая Парнаса,
Дочь богов, приди, о Муза,
Силой магии на помощь
Благородному искусству,

Докажи, что ты умеешь
Ворожить, и эту песню
Преврати в корабль волшебный,
Взявший рейс на Бимини».

Чуть успел я это молвить,
Как оделась явью просьба,
И из гавани мечтаний
Тот корабль волшебный выплыл.

Кто со мной на Бимини?
Эй, месье, медам, — прошу вас!
При попутном ветре живо
Мы причалим к Бимини.

Не страдаете ли, сударь,
Вы подагрой, — не открыли ль
Вы, сударыня, морщинок
На челе своем прекрасном?

Так со мной — на Бимини!
От зазорнейших болезней
Там исцелитесь, — порукой
Гидропатия тому!

Не страшитесь, пассажиры!
Мой корабль отменно прочен.
Из трохеев, дуба крепче,
Сделан киль его и сходни,

Руль — фантазии доверен,
Паруса вздувает бодрость,
В роли юнги — юмор шустрый,
Тут ли разум? — Знать не знаю.

Наши реи — из метафор,
Из гипербол наша мачта,
Флаг, романтике в угоду,
Черно-красно-золотой.

Он трехцветен, как старинный
Барбароссы флаг, что видел
Я в Кифгейзере, а также
В Франкфурте, в соборе Павла.

Вдоль по сказочному морю,
По лазури моря сказок,
Дивные чертя узоры,
Мой корабль волшебный мчится...

Впереди, взметая пену,
Гладь морскую баламутя,
Плещущим несутся войском
Головастые дельфины,

А на спины к ним взобрались
Вестники мои морские,
Купидоны, что, шарами
Щеки вздув, усердно дуют

В раковины, как в фанфары...
Но постойте! Что я слышу!
Из пучины океана
Смех доносится звенящий...

Ах, я знаю эти звуки,
Саркастично-сладкий голос:
То насмешницы-ундины
Потешаются, хохочут

Над моим челном дурацким,
Над дурацким экипажем,
Надо мной, над дуралеем,
Взявшим курс на Бимини.

I

На безлюдном побережье
Острова морского — Кубы —
Человек стоит, уставясь
На свое же отраженье.

Он — старик, но корпус держит
Прямо, как испанец истый.
А костюм на нем двухстилен, —
Полуфлотский, полуратный:

Шаровары рыболова,
Редингот из желтой замши

И расшитая богато
Португеза из парчи.

А на ней висит, конечно,
Длинный меч толедской стали;
Над поярковую шляпой —
Алые петушки перья...

Тень от них меланхолично
Падает на лоб и щеки,
Что изрядно исказили
Современники и время.

Там с морщинами — наследьем
Лет и жизненного горя —
Чуть подлатанные наспех
Сабельные спорят шрамы.

Без особого восторга
Созерцает этот старец
Свой плачевно-жалкий облик,
Водной гладью отраженный.

Ипуская вздох за вздохом,
Он протягивает руки,
Словно отстраняя что-то...
Наконец он восклицает:

«Это ли Хуан Понс-Лéон,
Паж из свиты дон Гомеца,
Некогда носивший шлейфы
Гордых дочерей алькадских?»

Беззаботным был он франтом
С золотистыми кудрями,
Что вились над головою,
Розовых мечтаний полной.

Все в Севилье знали дамы
Топ его коня лихого,
Все они кидались к окнам,
Чуть показывался всадник.

А когда сзывал он гончих
Щелканьем иль звонким свистом,
Звук пронзал сердца прелестниц,
Заливавшихся румянцем.

Это ли Хуан Понс-Лéон,
Тот, кто был грозой мавров,
Скашивал башки в тюрбанах,
Словно куст чертополоха?

Помню, как у врат Гренады,
Перед всей христовой ратью,
Был я в рыцарское званье
Посвящен самым Гонсальво.

И в палатке у инфанты
Под напевы нежных скрипок
Целый вечер танцевал я
С дамами придворной свиты.

Но ни пенья нежных скрипок
Ни признаний дам прекрасных
Я не слышал в этот вечер...
Словно жеребец о камни,

Топал я о пол палатки,
Лишь одно бряцанье слыша,
Вожделенное бряцанье
Милых первых шпор моих!

С возрастом росли запросы,
Появилось честолюбье;
В рейс колумбовский вторичный
По открытию вселенной

Я пустился, и второму
Был я предан Христофору,
Несшему сквозь воды светоч
В ночь язычества глухую.

Буду вечно помнить кротость
Глаз его. Страдал он молча,
Лишь ночами муки сердца
Звездам и волнам вверяя.

По возврате ж адмирала
Вновь в Испанию, служил я
При Ойедо; с ним я плавал
В жажде новых приключений.

Дон Ойедо был достойный
Рыцарь с головы до пяток;
Лучших не знавал вовеки
Даже Круглый стол Артура.

Биться! Биться! — был единый
Вопль души его. Со смехом
Поражал он краснокожих
В многократных с ними схватках.

И настигнутый однажды
Ядовитою стрелою,
Он железом раскаленным
Выжиг рану ту со смехом.

Как-то раз по вязким топям
Бесконечного, глухого,
Незнакомого болота,
Пб-пояс в грязи, без пищи,

Без питья мы проблуждали
Тридцать суток, и из сотни
Восемьдесят — друг за другом
Смерть нашли при переправе,

Топь же делалась все глубже...
Мы взроптали в иступленье,
Но вдохнул в нас бодрость снова
Дон Ойедо звонким смехом.

Позже самому Бильбао
Был я братом по оружию,
Столь же храбрый, знаньем дела
Превзошел он и Ойедо.

Все орлы высокой мысли
В голове его гнездились,
Благородство же, как солнце,
В доблестном горело сердце.

Для Испании стяжал он
Сотню царств, что были больше
Всей Европы и богаче
И Венеции и Фландр.

И в награду за стяжанье
Сотни царств, что были больше
Всей Европы и богаче
И Венеции и Фландр,

Был ему дарован галстук
Из пеньки, и на торговой
Площади Сан-Себастьяна
Вздернут был, как вор, Бильбао.

Рыцарем не столь блестящим
И героем меньшей славы,
Но отменным полководцем
Все же был Кортес Фернандо...

Послужил я и в армаде,
Мексикку завоевавшей;
В том походе мы не знали
В злочлеченьях недостатка.

Золотом я там разжился,
Но и лихорадкой желтой...
Ах, изрядный куш здоровья
Я забыл у мексиканцев!

А на золото построил
Я корабль, и, в путь ведомый
Собственной своей звездой,
Здесь открыл я остров Кубу,

Где во славу Хуаниты
Кастильянской и во имя
Арагонского Фернанда
Губернаторствую ныне,

Все добыв, к чему так жадно
Искони стремятся люди:
Славу, чин, монаршью милость,
Даже орден Калатравы.

Я наместник. Я владелец
Слитков золота, ценою
В сотни тысяч на пезеты,
Самоцветов и жемчужин.

Ах, взглянув на эти перлы,
Я всегда терзаюсь мыслью:
Лучше бы имел я зубы,
Зубы, как в былое время...

Зубы юности! С зубами
Раскрошилась ведь и юность!
Вспомнишь — и в бессилье гнева
Корешками заскрежешь.

Зубы юности! Когда бы
Откупить вас мог я снова
Вкупе с юностью, я б отдал
Все диковинные перлы,

Все алмазы я бы отдал,
Слитки золота ценою
В сотни тысяч и вдобавок
Даже орден Калатравы.

Отнимите славу, деньги,
Не зовите есселенза,
Величайте юным дурнем,
Шалопаем, вертопрахом!

Покровительница Дева,
Сжался над глупцом, в печали
Изнывающим и горький
Жребий от людей таящим.

Дева! Лишь тебе открою
Сердце я, — тебе единой
В том сознаюсь, в чем вовеки
Я святым бы не признался.

Ведь они — мужского пола,
Мне ж несносно, чтоб мужчина,
Даже в небесах, сагассо *,
Сострадал Хуану Лёон.

Ты же, прелестью сияя
Неувядной и нетленной,
Все ж, как женщина, о Дева,
Женственным чутьем постигнешь,

Сколько страждет преходящий
Жалкий смертный, увядая
Бренной плотью, — сам своею
Становясь карикатурой.

* Испанское ругательство.

Сколь счастливей нас деревья!
Тот же ветер, в то же время,
Их, по осени, с листвою
Разлучает пышнокудрой.

Все зимой стоят нагими, —
Дерева нигде не сыщешь,
Чтоб дразнило юной кроной
Соплеменников увядших.

Ах, у нас, у бедных смертных,
Каждый свой сезон имеет:
На одних снежит пороша,
У других — весна в разгаре.

И старик свое банкротство
Сознает еще большее,
Буйство юности завидя...
Покровительница Дева!

Отряхни с моих суставов
Зиму старости, что в жилах
Леденит мне кровь и кроет
Снегом голову мою.

Повели же солнцу снова
Сделать кровь мою горячей,
Повели же маю в сердце
Вновь защелкать соловьями.

Возврати щекам их розы,
Вновь кудрями золотыми
Мне чело обвей, о Дева,
Юность, юность возврати мне!» —

Так, с самим собой закончив
Разговор свой, Понс-де-Лéон
Вдруг лицо уткнул в ладони
И в отчаянье заплакал,

И рыдал он так безумно,
Так порывисто и бурно,
Что бежали слез потоки
Сквозь его худые пальцы.

II

И на суше верен рыцарь
Корабельному режиму,
Он, как на море бывало,
В гамаке проводит ночи.

И от мерных колыханий
Волн, его клонивших в дрему,
Он отречься не желает
И велит качать гамак свой.

Ведает тем делом Кяка,
Старенькая индианка,
Что от рыцаря москитов
Отгоняет опахалом.

И, качая в странной зыбке
Седовласого младенца,
Напевает песню-сказку
Родины своей далекой.

В том напеве ль скрыты чары?
Или в голосе певуны,
Что щебечет, заливаясь,
Будто чижик? Вот та песня:

«Крошка-пташка Колибри,
Ты лети на Бимини!
Ты лети, и мы—в дорогу,
Вымпел вскинув на пирогах.

Крошка-рыбка Бридиди,
Ты плыви на Бимини,
Ты плыви, и мы помчимся,
Оснастя венками штанги.

На блаженном Бимини
Вечные сияют вёсны,
Жаворонков златопёрых
Льется с неба ти-ри-ли...

Стройные цветы повсюду,
Как саванны, кроют землю;
Пряно их благоуханье,
Пышноогненны их краски.

Пальмы гордые колышут
Опахала над цветами,
Щедро их целуя тенью,
Им даря прохлады негу.

На блаженном Бимини
Протекает ключ волшебный;
Там из чудо-родника
Бьет поток омоложенья.

Чуть какой цветок увядший
Освежат одной хоть каплей
Влаги той, — он вновь окрепнет,
Красотой заблещет юной.

Чуть какой засохший прутик
Освежат одной хоть каплей
Влаги той, — он гибким станет,
Пустит почки и побеги.

А хлебнет старик той влаги, —
Станет молод он; и старость
Сбросит прочь, как ветхий кокон
Сбрасывают шелкопряды.

Не один плешивый старец,
До кудрей юнца допившись,
Не дерзнул домой вернуться
Желторотым лоботрясом...

Не одна мамаша тоже,
До девичества допившись,
Не дерзнула вспять вернуться
Омоложенной вострушкой...

И остались люди эти
Навсегда на Бимини,
Подонил их счастьем вёсен
Вечной молодости остров.

Вечной молодости остров,
Край блаженный, Бимини,
О тебе тоскует сердце...
Так простимся же, друзья!

Старый кот мой Мимили,
Кочет старый Кикрики,
Доживайте век одни,
Не вернемся с Бимини».

Так выводит Кяка. Рыцарь
Песню ту сквозь дрему слышит
И порою, как ребенок,
Сонно вторит: «Бимини!»

III

Нынче щедро залит солнцем
И залив и берег Кубы,
Под лазурным небом нынче
Не смолкают виолыны...

Зацелованная маем,
Вся в смарагдовом уборе,
Как красавица-невеста,
И цветет и рдеет Куба.

Без различья лет и рангов
Люди хлынули на берег

Пестрым роем, но сердца их
Бьются в лад, единым ритмом.

Ибо той же самой мыслью,
Окрыляющей надеждой
Все полны... Тому порукой
И благоговейный трепет

Ковыляющей с клюкою
Старушонки-бегуинки,
Что, перебирая четки,
Pater noster * свой бормочет,

И тому порукой также
Лучезарная улыбка
В золоченом паланкине
Проплывающей сеньоры,

Что, губами стиснув розу,
Легкий флирт ведет с гидальго,
С нею шествующим рядом
И крутящим ус свой томно.

И не только лица хмурой
Солдатни смягчила радость,
Но и духовенству облик
Человечный придала.

Вот поджарый чернорясец
Смачно потирает руки,
Вот двойной свой подбородок
Жирный гладит капуцин.

Даже сам епископ, вечно
Хмурящийся за обедней,
Потому что из-за мессы
Должен завтрак свой отсрочить,

* Отче наш

Даже он расцвел ухмылкой,
И карбункулы пылают
На носу его, и в пышном
Шествует он облаченье

Меж колеблемых кадильниц
И в сопровожденье свиты
Певчих с клироса, а также
Ризоблещущих прелатов,

Но — над чьими головами
Желтые зонты раскрыты,
Смахивающие сильно -
На большие шампиньоны.

Та процессия к налою,
К алтарю идет, который
Под открытым вольным небом
Возвышается над морем,

Весь ветвями пальм разубран,
Разной утварью церковной,
Образками, позолотой
И зажженными свечами.

Сам святой отец епископ
Нынче здесь молебен служит
И с напутственной молитвой
Сам дает благословенье

Той флотилии изящной,
Что, на рейде колыхаясь,
С якорей готова сняться
Для отплытья к Бимини.

Этот флот и есть тот самый,
Что Хуаном Понс-де-Лёон
Был сооружен в надежде
Отыскать блаженный остров,

Где омоложенья воды
Бьют из недр... Немало тысяч
Заклинательных напутствий
С берега летит к герою,

Благодетелю вселенной...
Каждый верит в то, что рыцарь,
С Кубы возвратясь, любому
Склянку юности подарит.

Многие из провожатых
Наперед глотают слюни,
Кольхаясь от восторга,
Как суденышки на рейде.

В той флотилии числом их
Пять всего: одна большая
Каравелла, две фелуки,
Две пигмейки-бригантины.

Каравелла адмиральский
Флаг вздымает, на котором
Три герба горят: кастильский,
Арагонский и Леона.

Как затейливый шалашик,
Вся она — в ветвях березы,
Вся в венках и в разноцветных
Развевающихся флагах.

Имя ей дано Speranza *,
И корму ее венчает
Изваянье этой донны,
Вырезанное из дуба

И раскрашенное знатно
Яркой и водоупорной

* Надежда

Масляной чудесной краской...
Импозантная фигура!

Рдеют лик ее и шея,
Рдеет бюст, переплеснувшись
Через выемку корсажа.
Платье зéлено у донны,

Зéлен и венок на косах,
Волос же смолисто-чёрен,
И глаза черны и брови;
А в ладони стиснут якорь.

Общий счет людей во флоте
Ста восьмидесяти равен,
И всего меж ними женщин
Только шесть да шесть прелатов.

На борту же каравеллы,
Возглавляемой Хуаном,
Восемьдесят кавалеров,
Донн — одна, и эта донна —

Кяка. Да, старушка Кяка
Величаться стала донной
И сеньорой Хуанитой
С дня, как дал ей рыцарь званье

Обер-лейб-гамако-дамы,
Обер-опахаловейки,
Гоф-черпальщицы в дальнейшем
Вод волшебных Бимини.

Как эмблема новой власти
Золотой вручен ей кубок,
И она, подобно Гебе,
Пышной облеклась туникой.

Вперемежку с пеной кружев,
Жемчуга, не без коварства,
Опочили на поблекших
Смуглых прелестях сеньоры.

Рококо-антропофажно,
Караибо-помпадурно
Выситя прически конус,
Сплошь облепленный роями

Скарабейно-мелких птичек,
Что по блеску оперенья
Глазу кажутся цветами
Из камней наиценнейших.

Это множество пернатых
Гармонизирует чудесно
С Кякиным необычайным
Попугаевидным фасом.

Образине той под пару
Сам Хуан, сам Понс-де-Лёон,
Что, предвосхищая сроки
Близкого омоложения,

Поспешил напялить тут же
Платье юности любезной,
Вырядившись архифрантом
По изысканнейшей моде.

Остроклювые, при шпорах,
Полудетские сапожки
И штанишки, у которых
Розов цвет штанины правой,

Цвет же левой ярко зелен.
Сверх атласного камзола —
Плащ короткий на отлете,
Набекрень — берет трехпёрый.

Разрядившись так и лютною
В руки взяв, неугомонно
Пританцовывая, сыплет
Приказанья адмирал.

Он велит, чтоб вся армада
Снялась с якорей, лишь только
Окончание молебна
Возвестит сигналом берег.

Он велит, чтоб в миг отплыть
Пушки флота до единой,
Салютуя Кубе, дали
Тридцать шесть громовых залпов.

Он велит, — и сам хохочет,
Вертится юлой при этом, —
Опьяненный сладким хмелем
Упоительной надежды.

От щипков его безумных
Стонут струны бедной лютни,
И разбитым козлитонем
Блеет он все ту же песню:

«Крошка-пташка Колибри,
Крошка-рыбка Бридиди,
Вы летите и плавите,
Путь кажите к Бимини!»

IV

Ни глупцом, ни полоумным
Вовсе не был Понс-де-Лéон,
Странствие предпринимая
В край блаженный Бимини.

В том, что остров существует,
Он отнюдь не сомневался, —
Ведь тому была порукой
Песня индианки Кяки.

Мореплаватель же склонен
Всех сильнее к чудоверью:
Пред собой он видит вечно
Огненное чудо неба.

Вечно он внимает зовам
Тайн исполненного моря,
Где из пены древле встала
Донна Venus Aphrodita *.

А теперь в трогеях наших
Мы изобразим правдиво,
Скольких рыцарь злоключений
Натерпелся, сколько вынес!

Ах, взамен искорененья
Старой хвори, он, бедняга,
Много нахватал увечий
И добавочных болезней.

Он, за юностью гоняясь,
Что ни день старел все боле
И развалиной иссохшей
Наконец приплыл в страну,

В тихую страну, где речка,
Под охраной кипарисов,
Катит медленные воды,
Воды, что целебны тоже.

Имя чудной речки — Лета...
Лишь глоток испей, — забудешь
Все страданья, да, забудешь
Все, что претерпел ты в жизни.

Добрый ключ! Блаженный край!
Кто достиг его, не кинет
Никогда уже... Ведь он —
Истинное Бимини!

* Венера-Афродита.

**БАСНИ И РОМАНСЫ
1853—1855 ГОДОВ**



1. ПЕСНЬ МАРКИТАНТКИ

А я гусаров как люблю,
Люблю их очень, право!
И синих и желтых, все равно —
Цвет не меняет нрава.

А grenадеров я как люблю,
Ах, brave grenадеры!
Мне люб рекрут и ветеран,
Солдаты и офицеры.

Кавалерист ли, артиллерист, —
Люблю их всех безразлично;
Да и в пехоте немало ночей
Поспала я отлично.

Люблю я немца, француза люблю,
Голландца, румына, грека;
Мне люб испанец, чех и швед, —
Люблю я в них человека.

Что мне до его отечества, что
До веры его? Ну, словом, —
Мне люб и дорог человек,
Лишь был бы он здоровым.

Отечество и религия — вздор,
Ведь это — только платья!
Долой все чехлы! Нагого, как есть,
Хочу человека обнять я.

Я — человек, человечеству я
 Вся отдаюсь без отказа.
 Могу отметить мелом долг
 Тем, кто не платит сразу.

Палатка с веселым венком — моя
 Походная лавчонка...
 Кого угощаю мальвазией
 Из нового бочонка?

2. КЛОП

I

Однажды клоп, доволен судьбой,
 Сидел на копейке, хваляся собой,
 Как истый богач: «Кто деньги нажил,
 В почете и славе в миру тот зажил.
 Кто при деньгах, тот мил и хорош,
 И к женщине любой он вхож;
 Бледнеют женщины — едва дышат —
 Как только мой дух они заслышат.
 Провел не одну я летнюю ночь
 В постели, где спит королевская дочь;
 Вертясь, чуть она не упала с матраца —
 Все время ей пришлось чесаться».

Услышал веселый чиж похвальбу;
 С досады дух ему сперло в зобу —
 Он клюв почесал и с рвением чистым
 Клопа осмеял издевательским свистом.

Но клоп лишь грязью пошлой мог
 Отмстить и распустил слушок:
 За то, мол, чиж в досаде крайней,
 Что отказал ему он в займе.

А где же мораль? Но, хоть не трус,
 Ее с расчетом автор скроет:
 Уж слишком его в наш век беспокоит

Богатой нечисти мощный союз.
 Мешок с деньгами засунув под зад,
 Они свой марш победный трубят.

II

Нечистые твари каждой страны
 В священном союзе объединены.
 Клопы музыкальные — прочих пуще —
 Творцы романсов (никак не идущих,
 Подобно Шлезингера часам)
 В союзе едином — и тут и там.
 Вот Моцарт чесотки из Вены — алмаз
 Эстетов-закладчиков славной лиги —
 С Бер-Мейером лавровенчанным в интриге,
 С великим маэстро берлинским, увяз.
 Статейку высидят тут иногда,
 Протащат в печать — без большого труда,
 Наличными сунув какой-нибудь вошке;
 Ложь, низость — мерзее не выгнуться кошке!
 К тому ж — меланхолии легкий налет...
 Их ложь нередко встречают верой —
 Из состраданья: в чертах лицемера
 Такой возвышенной скорби гнет.
 Чем дело ты тогда поправишь?
 Придется спокойно снести поношенья —
 Ни слов ни жалоб — только терпенье!
 Ведь если ты эту мерзость раздавишь,
 Она провоняет воздух ужасно,
 Да ноги выпачкаешь напрасно.
 Так я промолчу уж — как мне ни жаль:
 В другой раз поведаю басни мораль.

3. ПЕАН

(Фрагмент)

Отстрани со лба венки ты,
 На ушах нависший пышно,

Бер, чтобы свободней мог ты
Внять мой лепет, еле слышный.

Превратил мой голос в лепет
Пред великим мужем трепет, —
Тем, чей гений так могуч,
В ком искусства чистый ключ;
Мастерским приемам разным
Громкой славой он обязан:
Не свалилась прямо в рот
Слава эта без забот,
Как сопливому разине —
Вроде Моцарта, Россини.

Нет, наш мастер — всех прямее,
Тем он дорог нам — Бер-Мейер.
Он хвалы достоин, право,
Сам себе он создал славу —
Чистой силой волевой,
Мощью мышленья живой,
Он в политике плел сети,
Все расчел он, как по смете,
Сам король — его протектор,
И за то он стал директор
Над всей музыкальной частью,
Облечен такою властью...

С коей, со всеподданнейшим почтением, я ныне
вступаю в судебное пререкание.

4. ЮДОЛЬ СКОРБИ

Сквозь щели свищет ветер ночной,
И на чердачном ложе
Несчастные две души лежат —
Бледны, на скелеты похожи.

И он, бедняга, говорит:
«Меня обними, как умеешь,

Губами впейся в губы мои, —
 Меня собой согреешь».

Она, бедняжка, говорит:
 «В твоих глазах — забвеньё
 От голода, холода, от нищеты,
 От всего земного мученья».

Всю ночь целовались, рыдали всю ночь,
 До стонов сжимали пальцы,
 Смеялись и даже запели потом...
 И вдруг затихли страдальцы.

А утром комиссар пришел
 И лекарь с ним. Пощупав
 Их пульсы, подтвердил он смерть
 Уже посиневших трупов.

«Погода суровая, — он объяснил, —
 И желудочное истощенье
 Вызвали смерть. — Ускорить ее
 Они могли, без сомненья».

«При сильных морозах, — добавил он, —
 Потапливать надо в спальне,
 Теплей укрываться». Рекомендовал
 Питаться он нормальной.

5. ЭДУАРД

Гробовая колесница,
 В траурных попонах клячи.
 Он, кто в мир не возвратится,
 На земле не знал удачи.

Был он юноша. На свете
 Все бы радости изведал,

Но на жизненном банкете
Рок ему остаться не дал.

Пусть шампанское, играя,
Пенилось в его бокале —
Тяжко голову склоняя,
Он сидел в немой печали.

И слеза его блестела,
Падая в бокал порою,
А толпа друзей шумела,
Тешась песней круговую.

Спи теперь! Тебя разбудит
В залах на небе веселье
И томить вовек не будет
Жизни горькое похмелье.

6. ДУЭЛЬ

Сошлись однажды два быка
Подискутировать слегка;
Был у обоих горячий норов,
И вот один в разгаре споров
Последний аргумент привел,
Другому заорав: «Осел!»
«Осла» получить быку — хуже пули,
И стали боксировать наши Джон-Були.

Придя в то же время на тот же двор,
И два осла вступили в спор.
Весьма жестокое было сраженье.
И вдруг один, потеряв терпенье,
Издав какой-то дикий крик
И заорал другому: «Ты бык!»
Чтоб стать длинноухому злейшим врагом,
Довольно его назвать быком.

И загорелся бой меж врагами,
Толкали друг друга лбом, ногами,
Отвешивали удары в *rodex* *,
Блюдя священный дуэльный кодекс.
А где же мораль? Вы мораль проглядели!
Я показал неизбежность дуэли:
Студент обязан влупить кулаком
Тому, кто его назвал дураком.

7. ЭПОХА КОС

Басня

Две крысы были нищи,
Они не имели пищи.

Мучает голод обеих подруг;
Первая крыса пискнула вдруг:

«В Касселе пшенная каша есть,
Но, жаль, часовой мешает съесть;

В курфюршеской форме часовой,
При этом — с громадною косою;

Ружье заряжено — крупная дробь;
Приказ: кто подойдет — угрожь».

Подруга зубами как скрипнет
И ей в ответ как всхлипнет:

«Его светлость курфюрст у всех знаменит,
Он доброе старое время чтит,

То время каттов старинных
И вместе кос их длинных.

* вад

Те катты в мире лысом
Соперники были крысам;

Коса же — чувственный образ лишь
Хвоста, которым украшена мышь;

Мы в мирозданье колоссы —
У нас натуральные косы.

Курфюрст, ты с каттами дружен, —
Союз тебе с крысами нужен.

Конечно, ты сердцем с нами слился,
Потому что у нас от природы коса.

О, дай, крысфюрст благородный наш,
О, дай нам вволю разных каш,

О, дай нам просо, дай пшено,
А стражу прогони заодно!

За милость вашу, за эту кашу,
Дадим и жизнь и верность нашу.

Когда ж наконец скончаешься ты,
Мы над тобой обрежем хвосты,

Сплетем венок, свезем на погост;
Будь лавром тебе крысиный хвост!»

8. ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ ПЕС

Жил некий пудель, и не врут,
Что он по праву звался Брут.
Воспитан, честен и умен,
Во всей округе прославился он
Как образец добродетели, как
Скромнейший пес среди собак.

О нем говорили: «Тот пес чернокудрый —
Четвероногий Натан Премудрый.
Воистину, собачий брильянт!
Какая душа! Какого талант!
Как честен, как предан!..» Нет, не случаен
Тот отзыв: его посылал хозяин
В мясную даже! И честный пес
Домой в зубах корзину нес,
А в ней не только говяжье, но и
Баранье мясо и даже свиное.
Как лакомо пахло сало! Но Брута
Не трогало это вовсе будто.
Спокойно и гордо, как стоик хороший,
Он шел домой с драгоценною ношей.

Но ведь и собаки — тоже всяки:
Есть и у них шантрапа, забияки,
Как и у нас, — дворняжки эти,
Завистники, лодыри, сукины дети,
Которым чужды радости духа,
Цель жизни коих — сытое брюхо.
И злоумыслили те прохвосты
На Брута, который честно и просто,
С корзиною в зубах — с пути
Морали и не думал сойти...

И раз, когда к себе домой
Из лавки мясной шел пудель мой,
Вся эта шваль в одно мгновенье
На Брута свершила нападение.
Набросились все на корзину с мясом,
Вкуснейшие ломти — наземь тем часом,
Прожорливо-жадно горят взоры,
Добыча — в зубах у голодной своры.
Сперва философски-спокойно Брут
Все наблюдал, как собратья жрут;
Однако, видя, что каналы

Мясо почти уже все доконали, —
Он принял участие в обеде — уплеп
И сам он жирный бараний мосол.

М о р а л ь

«И ты, мой Брут, и ты тоже жрешь?»
Иных моралистов тут бросит в дрожь.
Да, есть соблазн в дурном примере!
Ах, все живое — люди, звери —
Не столь уж совершенно: вот —
Пес добродетельный, а жрет!

9. ЛОШАДЬ И ОСЕЛ

По рельсам, как молния, поезд летел,
Пыхтя и лязгая грозно.
Как черный вымпел, над мачтой-трубой
Реял дым паровозный.

Состав пробегал мимо фермы одной,
Где белый и длинношей
Мерин глазел; а рядом стоял
Осел, улетаая репéи.

И долго поезду вслед глядел
Застывшим взглядом мерин;
Вздыхая и весь дрожа, он сказал:
«Я так потрясен, я растерян!

И если бы, по природе своей,
Я мерином белым не был,
От этого ужаса я бы теперь
Весь поседел, о небо!

Жестокий удар судьбы грозит
Всей конской породе, бесспорно.

Хоть сам я белый, но будущность мне
Представляется очень черной.

Нас, лошадей, вконец убьет
Конкуренция этой машины;
Начнет человек для езды прибегать
К услугам железной скотины.

А стóит людям обойтись
Без нашей конской тяги, —
Прощай, овес наш, сено, прощай, —
Пропали мы, бедняги!

Ведь сердцем человек — кремень:
Он даром и макухи
Не даст. Он выгонит нас вон, —
Подохнем мы с голодухи.

Ни красть не умеем, ни взаймы брать,
Как люди, и не скоро
Научимся льстить, как они и как псы.
Нам путь один — к живодеру!»

Так плакался конь и горько вздыхал,
Он был настроен мрачно.
А невозмутимый осел между тем
Жевал репейник смачно.

И, морду свою облизав, он сказал
Беспечно: «Послушай-ка, мерин:
О том, что будет, сейчас ломать
Я голову не намерен.

Для вас, для гордых коней, паровоз —
Проблема существованья,
А нам, смиренным ослам, впадать
В отчаянье нет основанья.

У белых, у пегих, гнедых, вороных,
У всех вас — конец печальный;
А нас, ослов, трубою своей
Не вытеснит пар нахальный.

Каких бы хитрых там машин
Ни выдумывал ум человека, —
Найдется место нам, ослам,
Всегда, до скончания века.

Нет, бог не оставит своих ослов,
Что — в полном сознание долга —
Как предки их честные, будут плестись
На мельницу еще долго.

Хлопочет мельник, в мешки мука
Струится под грохот гулкий;
Ташу ее к пекарю, пекарь печет, —
Человек жрет хлеб и булки.

Сей жизненный круговорот искони
Предначертала природа.
И вечна, как и природа сама,
Ослиная наша порода».

М о р а л ь

Век рыцарства давно прошел:
Конь голодает. Но осел,
Убогая тварь, он будет беспечно
Овсом и сеном питаться вечно.

10. ПОДСЛУШАННОЕ

«О умный Екеф, ты много ль дал
За длинного христианина —
Супруга доченьки твоей?
Ведь дочка твоя не картина.

Ты шестьдесят пять тысяч дал?
Иль семьдесят тысяч марок?
Христианское мясо стоит того —
Ведь дочка была перестарок.

Шлемиль я бедный! — у меня
Почти что вдвое взяли.
За все же денешки мои
Лишь дрянь, лишь дешевку дали!»

А умный Екеф смеется умно,
Как Натан Мудрый со сцены:
«Ты слишком много даешь, мой друг,
И нам набиваешь цены.

Своим лишь делом ты занят одним,
Железной дорогой одною;
Я ж — праздный житель, гуляю себе
И разные планы строю.

Упали цены теперь на христиан,
Так надо платить осторожно.
За сотенку тысяч, поверь мне, купить
И римского папу возможно.

Для дочки второй в высшем свете есть
Жених у меня, *in petto**:
Сенатор, росту футов шесть
И нет сородичей в гетто.

Дав сорок тысяч, за него
Вторую я выдам дочку;
Часть суммы наличными внесу,
Часть — выплачу в рассрочку.

А сын бургомистром станет, — да!
Уж это я продвину.

* про себя, никому не сообщая.

Хоть он и горбат, — а Вандраму гнуть
Пред семенем нашим спину.

Мошенник шурип божился вчера,
В восторге от хитрого плана:
«Ах, умный Екеф, твоя голова
Совсем голова Талейрана».

Такая беседа в Гамбурге раз
Случайно ко мне долетела,
Когда по Юнгфернштигу я
Прогуливался без дела.

41. СИМПЛИЦИССИМУС I

Один несчастья не снесет,
Другой — не переварит счастья;
Мужчин враждой погублен первый,
Другого гибель — в женской страсти.

Когда лишь я тебя узнал,
Ты лоска чужд был и в зачатке,
И рук твоих плебейских кожа
Не знала лайковой перчатки.

Зеленый ты носил сюртук,
Уже потрепанный и узкий;
Рукав короток, полы длинны —
Как будто хвост у трясогузки.

Платок твой шейный, верно, служил
Салфеткой у мамы на туалете;
Атласный галстук еще не украсил
Гордую шею и вырез в жилете.

Так честно глядели твои сапоги,
Как будто Ганс Сакс их тачал саморучно —

Французским еще не тронуты лаком,
Немецкой ворванью смазаны тучно.

Еще ты мускусом не пропах,
И не носил еще лорнетки,
Цепочки ты не имел золотой,
Жены и бархатной жилетки.

Держался ты в те времена
Самоновейшей моды света —
Всех швабо-галльцев; но в ту пору
Переживал ты дни расцвета.

На голове твоей волос
Росло немало. Рос тяжелый
Под ними груз великих мыслей;
Теперь же — пуст твой череп голый.

Исчез и лавровый венок,
Что плешь прикрыть бы мог немножко.
Кто общипал тебя так? Право,
Подобен ты драной кошке.

Дукаты тестя разошлись,
Что он на шелке когда-то нажил.
Кряхтит старик: из немецкой поэзии
Немного выпрял он шелковой пряжи!

Ах, это ль Живой, который весь свет —
Со всем запасом галушек, сосисок —
Хотел проглотить и в ад ниспровергнуть
Князя Пюклер-Мюскау родословный список?

То рыцарь ли вольный, что не раз —
Как тот, другой — Ламанчский, — неистов,
Опроверженья писал тиранам
В духе дерзостных гимназистов?

И это ли генералиссимус
Германской свободы? Избранник смелый
Эмансипации, что красовался
Вархом пред бойцами за правое дело!

И сивый конь под ним был бел,
Как кони, служившие богам, героям —
Давно посивевшим; спаситель отечества
Среди ликованья ехал пред строем.

Да, то был скачущий виртуоз,
Лист на коне, лунатик, свойский
Божок мещан, крикун базарный,
Фигляр презренный в роли геройской.

И амазонкой супруга его
С длинным носом ехала рядом —
С пером, на шляпе реющим гордо,
И с полным экстаза прелестным взглядом.

Молва идет, что тщетно жена
Боролась тогда с малодушьем супруга —
Когда при выстрелах ружейных
Кипичник нежный ослаб от испуга.

Она сказала: «Брось дрожать,
Оставь ты заячьи эти привычки!
Здесь речь идет о победе иль смерти —
Корону добыть можно в этой стычке.

Вспомни родины ты нужду,
И нужд своих и долгов количество.
Корону во Франкфурте примешь, и
Ротшильд
Даст займы тебе — как всем величествам.

Как будет мантии горностаи
Тебе к лицу! Я слышу уж — воет

В восторге народ; вижу девушек в белом,
 Что радостно путь твой цветами покроют».

Бессильна приманка! Есть антипатии,
 Что даже избранным ноги подкосят.
 Как Гёте дым табачный, так же
 Герой наш пороха не выносит.

Защелкали пули — бледнеет герой,
 Лепечет слова без конца и начала —
 Он бредит, а супруга рядом
 Платок свой к длинному носу прижала.

Так говорили. Было ли так?
 Кто знает! Все мы, люди, слабы.
 Велик Гораций Флакк, но в битве
 И он искал — удрать куда бы.

Таков прекрасного в мире удел —
 Изящный падет с неуклюжими равно.
 Макулатурой станут их песни
 И сами поэты — голью бесславной.

12. КОРОЛЬ ДЛИННОУХ I

При избранье короля, как не понять того,
 Ослы составили, конечно, большинство.
 И осел торжественно был выбран королем.
 Послушайте, что хроника гласит о нем:

Осел коронованный, на трон воссев,
 Решил, что он — настоящий лев.
 Он шкуру львиную набросил на плечи
 И ревел по-львиному, произнося речи.
 С конями одними имел он общенье,
 Чем вызвал у старых ослов раздраженье.
 Бульдоги и волки вошли в его рать,

Еще больше стали ослы роптать.
 Когда же был в канцлеры бык возведен,
 Ослиный род зафыркал, взбешен.
 Он пригрозил революцией даже!
 Король тогда нахлобучил в раже
 Корону скорее и закутал фигуру
 Скорее в храбрую львиную шкуру.
 Затем призвать в тронный зал
 Он недовольных ослов приказал
 И такими словами почтил собрание:

«Высокочитимые подданные ослиного звания,
 Вы полагаете, что осел я, как вы,
 Вы ошибаетесь, мне родственны львы.
 При дворе мне это твердят нередко
 И дама благородная и субретка.
 Это же писал мой придворный поэт,
 Есть у него такой куплет:
 «Как горб имеют дромадеры,
 Так ты имеешь льва манеры
 И львиное величие духа.
 Душа твоя вовсе не длинноуха».
 Так поет он в своем лучшем творенье,
 Которое весь двор привело в восхищенье.
 Здесь я любим; гордые павлины
 Щекочут взапуски мой загривок львиный.
 Искусства всегда я поддерживать рад,
 Одновременно Август я и Меценат.
 Придворный театр мой пышно цветет.
 Роли героев играет кот,
 Примадонна — Мими, из кукол прелестных,
 И в труппе — штук двадцать мопсов известных.
 Академию художеств приказ мною дан
 Открыть для талантливых обезьян.
 Ее директором держу, *in petto*,
 Я Рафаэля гамбургского гетто.
 Леманна я велел сюда пригласить —
 Мой лик он должен изобразить.

У меня есть опера, у меня есть балет,
 Где, вполне пикантен и полураздет,
 Поет хор птиц, что вовсе неплохи,
 Где даровитые скачут блохи.
 Там капельмейстером Мейербер,
 Наш музыкальный медведь-миллионер;
 Теперь он пишет гала-представленья
 К торжественным дням моего обрученья.
 Я сам упражняюсь в до-ре-ми-соль,
 Как Фридрих Великий, прусский король;
 Он дул во флейту, — я дергаю струны,
 И часто взгляд прекрасный и юный,
 Полный любви, на себе подмечал,
 Когда с чувством на лютне бреччал.
 С восторгом королева узнаёт вдруг,
 Как музыкален ее супруг.
 Сама она — безупречная кобыла,
 Чистейшая кровь течет в ее жилах,
 В родне ее происходит кто-то
 От Россинанта Дон-Кихота,
 Ведет свой род эта персона
 И от Баярда сыновей Эймона.
 Говорится еще в ее родословной,
 Что многие предки ее безусловно
 Ржали под знаменами Бульонского Готфрида,
 Покорявшего город священный Давида.
 Но больше она статью красивой
 Блестает! Чуть тряхнет она гривой —
 И увижу я розовых ноздрей трепетанье,
 Сердце мое дрожит от желанья.
 Всех кобылиц она цвет и корона
 И мне подарит наследника трона, —
 Увидите вы, что это соединенье
 Обеспечит династии моей утвержденье.
 Имя мое не забудут, конечно,
 Клию в анналах сохранит его вечно.
 Повсюду пройдет обо мне молва,
 Что гордо носил я сердце льва

В груди, что мудро, умно
Я правил и на лютне играл заодно».

Король тут рыгнул, но не надолго прервал он
Знаменитую речь, и так продолжал он:

«Высокочтимые подданные ослиного звания,
Лишь при условии послушанья
Я не лишу вас благоволенья.
Платите налоги без промедленья
И не сходите с прямой дороги,
Где блаженной памяти отцов ваших ноги
Всегда шагали. И в холод и в жар
Таскали они мешки на базар,
Как всем им религия повелела;
До революций им не было дела,
Для ропота пасть их была закрыта,
Набожно, мирно у привычки корыта
Ели они без забот свое сено.
Старое время прошло, несомненно.
Вы, новые ослы, остались ослами,
Но покорности нет между вами.
Виляет, как прежде, смиренно ваш хвост,
Но таится в вас дерзости рост.
Все, глядя на вашу дурацкую мину,
За честную вас принимают скотину,
Но вы потеряли душевную невинность,
Несмотря на умильную вашу ослиность.
Чуть только перец вам сунут в зад,
Как тотчас же крик подымает ваш брат.
Ужасный концерт! Вы весь свет растерзать
Хотели б, а в силах лишь только орать.
Нелепая злоба, в ней дурь лишь видна!
Бессильная ярость, она смешна!
Мне открывает ваш глупый крик
Ваш внутренний подлый, коварный лик,
И сколько всяких мерзостей,
И невероятных дерзостей,

И яду, и желчи, и нравственной гнили
В ослиной шкуре скрыты были».

Король тут рыгнул, но не надолго прервал он
Знаменитую речь, и так продолжал он:

«Высокочтимые подданные ослиного званья,
Я насквозь вас вижу. Негодованья,
Да, да, негодованья исполнен мой дух.
Как, вы осмелились ворчать вслух
И посрамили мое управленье!
С вашей ослиной точки зренья
Вам не понять тех высоких идей,
Что политикой проводились моей.
Эй, берегитесь! В моей стране
Дубов и буков довольно вполне.
Из них виселицы делать прекрасно,
А также и палки. Совет мой — напрасно
Не заниматься моими делами,
Совет мой — держать язык за зубами.
Всех резонеров, мечтающих сумасбродно,
Велю своим слугам сечь всенародно;
Придется в тюрьме им шерсть чесать.
А кто о восстании будет болтать
И портить мостовые для баррикады,
Тех велю вешать без всякой пощады.
Вот что, ослы, я вдолбить вам хотел.
Теперь убирайтесь для домашних дел».

Лишь кончил король свои назиданья, —
Ликуя, подданные ослиного званья
Все крикнули дружно: «И-а! И-а!
Виват наш король! Ура! Ура!»

13. ОСЛЫ-ИЗБИРАТЕЛИ

Свобода наскучила в данный момент;
Республика четвероногих
Желает, чтобы один регент
В ней правил вместо многих.

Зверинные роды собрались,
Листки бюллетеней писались;
Партийные споры начались,
Интриги завязались.

Стояли Староослы во главе
Ослиного комитета;
Носили кокарды на голове
Черно-красного с золотом цвета.

Была еще партия жеребцов,
Но та голосов не имела;
Боялась свирепых Староослов,
Кричавших то и дело.

Когда ж кандидатом коня провел
По спискам один избиратель,
Прервал его серый Староосел
И крикнул ему: «Ты — предатель!

Предатель ты! И крови осла
Ни капли в тебе не струится;
Ты не осел! Тебя родила
Французская кобылица.

От зебры род, должно быть, твой,
Ты весь в полоску, как зебра,
И голоса тембр у тебя косовой,
Как голос еврея, негра.

А если ты и осел, то все ж
Осел от разума, хитрый.
Ты глуби ослиной души не поймешь,
Ее мистической цитры.

Но я, я всею душой вошел
В сладчайший этот голос;
Я есмь осел, мой хвост — осел,
Осел — мой каждый волос.

Я не из римлян, не славянин,
Я из ослов немецких,
Я мыслящих предков храбрый сын,
И кряжистых и молодецких.

Они не играли в *galanterie* *
Фривольными мелочами,
И быстро-бодро-свежо, раз-два-три,
На мельницу шли с мешками.

Отцы не умерли! В гробах
Одна лишь кожа с мехом,
Их тленная риза! Они в небесах
Приветствуют нас со смехом.

Ослы блаженные, в нимбе венца!
Мы следовать вам клянемся,
С путей добродетели до конца
Ни на волос не собьемся.

О, что за блаженство быть ослом!
Таких длинноухих сыном!
Со всех бы крыш кричать о том:
Рожден я в роде ослином!

Большой осел, что был мне отцом,
Он был из немецкого края;
Ослино-немецким молоком
Вскормила нас мать родная.

Я емь осел, из самых ослов,
И всею душой и телом
Держусь я старых ослиных основ
И всей ослитины в целом.

* учтивость

И мы свой ослиный совет даем:
 Осла на престол поставить;
 Мы осломонархию оснуем,
 Где только ослы будут править.

Мы все здесь ослы! И-а! И-а!
 От лошадей свобода!
 Долой коня! Виват! Ура!
 Король ослиного рода!»

Так кончил патриот. И зал
 Оратору дружно хлопал.
 Тут каждый национальным стал
 И бил копытом об пол.

Дубовый венок на его главу
 Потом возложило собрание,
 И он благодарил толпу,
 Махая хвостом в молчанье.

14. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ МАССЫ

«Блины, которые я отпускал до сих пор за три серебряных гроша, я отпускаю отныне за два серебряных гроша. Все зависит от массы».

Засел в мою память прочней монументов
 Один анонс — для интеллигентов
 Борусской столицы когда-то он
 В «Intelligenz Blatt» * был помещен.

Берлин! Столица борусской страны!
 Цветешь ты свежестью весны,
 Как пышных лип твоих аллеи...
 Все так же ли ветер их бьет, не жалея?
 А как твой Тиргартен? Найдется ль в нем тварь,
 Что хлещет пиво, как и встарь,

* «Справочный листок»

С женой в павильоне, под ту же погудку:
Мораль — душе, а борщ — желудку?

Берлин! Ты каким предаешься потехам?
Какого разиню приветствуешь смехом?
При мне еще Нанте не снился берлинцам.
В ту пору только чушь мололи
Высоцкий с пресловутым кронпринцем,
Что ныне ерзает на престоле.
Теперь в короле не признать балагура —
Голова под короной повисла понуро.
Сего венценосца сужу я нестрого,
Ведь мы друг на друга походим немного.
Он очень любезен, талантлив притом, —
Я тоже был бы плохим королем.
Как я, не питает он нежных чувств
К музыке — чудовищу искусств.
Поэтому протезирует он
Мейербера — музыке в урон.
Король с него денег не брал, о нет!
Как об этом гнусно судачит свет.
Ложь! С беренмейеровских денег
Король не разбогател ни на пфенниг!
И Беренмейер с неких пор
Королевской оперы дирижер,
Но за это ему — награда одна:
И титулы и ордена —
Лишь «en monnaie de signe»*. Так вот:
За roi de Prusse ** проливает он пот.

Как только начну Берлин вспоминать,
Университет я вижу опять.
Под окнами красные скачут гусары,
Там музыки грохот и звуки фанфары,
Громко несутся солдатские «зори»

* расплата шуточками

** работая бесплатно — дословно: за короля Пруссии.

К студиязам под своды аудиторий.
А профессора там все в том же духе —
Весьма иль менее длинноухи?
Все так же ль изящно, с тем же эффе́ктом
Слащаво поет дифирамбы пандектам
Наш Савиньи иль сей певец,
Быть может, помер под конец?
Я, право, не знаю... Скажите по чести,
Я не расплачусь при этой вести...
И Лотте умер. Смертен всякий,
Как человек, так и собаки,
А псам таким и подыхать,
Что рады здравый смысл обрезать
И считают для вольного немца почетом —
Задышаться под римским гнетом...
А Масман плосконосый, тот все у дел?
Иль Масмана смертных постиг удел?
Не говорите об этом, я буду убит.
И, если подох он, я плакать стану, —
О! Пусть еще долго он небо коптит,
Нося на коротеньких ножках свой грузик.
Уродливый карлик, смешной карапузик
С отвислым брюхом. Сей пигмей
Был мне на свете всех милей!
Я помню его. Он так был мал,
Но, как бездонная бочка, лакал
Со студентами пиво, — те, пьянствуя часто,
Под конец излупили беднягу-гимнаста.
То-то было побоище! Юноши браво
Доказали упорством рук,
Что Туснельды и Германа внук —
Достойный поборник кулачного права.
Молодые германцы не знали поблажки,
Молотили руками... То в зад, то в ляжки
Пинали ногами все боле и боле,
А он, негодая, хоть бы пикнул от боли.
«Я удивлен! — вскричал я с жаром, —
Как стойко ты сносишь удар за ударом,

Да ты ведь герой! Ты брутовской расы!» —
И Масман молвил: «Все зависит от массы!» —

Да, а ргороз *, а этим летом
Вы репой тельтовской довольны?
Хорош ли огурчик малосольный
В столице вашей? А вашим поэтам
Живется все так же без резких волнений
И все среди них не рождается гений?
Хотя — к чему гений? Ведь у нас расцвело
Моральных и скромных талантов немало.
У морального люда есть тоже прикрасы.
Двенадцать уж дюжина! Все зависит от массы.
А вашей лейб-гвардии лейтенанты
Попрежнему те же наглые франты?
Все так же затянуты в рюмочку талы?
Все так же болтливы эти каналы?
Но берегитесь — беда грозит —
Еще не лопнуло, но трещит!
Ведь Бранденбургские ворота у вас
Грандиозностью славятся и сейчас.
И в эти ворота, дождетесь вы чести,
Всех вас вышвырнут с прусским величеством
вместе.
Все зависит от массы!

15. БРОДЯЧИЕ КРЫСЫ

Два сорта крыс разнородных:
То сытых, а то голодных.
Сытые — любят домашний уют,
Голодные — жизнь кочевую ведут.

Не зная семейных идиллий,
Кочуют тысячи мйлей,

* кстати

Без устали — ночью и днем,
И дождь и буря им нипочем.

Переползают через вершины,
Переплывают через пучины.
Иная потонет, та сломит хребет.
Живым до мертвых дела нет.

И все они бесшабашны,
И вид у них престрашный!
У каждой череп оголен
На радикально-крысиный фасон.

Сих радикалов много:
Они не верят в бога.
Они не крестят своих крысят,
Их жены всем принадлежат.

Вся чувственная свора:
Кто пьяница, кто обжора.
Обжорством и пьянством во-всю греша,
Забывают они, что бессмертна душа.

Безумцы подобного сорта
Не боятся ни кошки ни чорта.
У самих — ни угла ни полушки нет,
А хотят делить по-новому свет.

Бродячие крысы — о горе! —
Сюда нагрянут вскоре.
Я слышу свист. Со всех сторон
Они идут... Их — легион!

О горе! Вот забота!
Изволь отпирать им ворота.
И бургомистр и сенат
Головами трясут, да всё невпопад.

Обыватели бьют тревогу.
Цопы звонят на подмогу.

Палладиум нашей моральной страны —
Собственность — мы защищать должны.

Ни звон колокольный, ни поповские фразы,
Ни велемудрые указы,
Ни все стофунтовые пушки на свете
Уже не помогут вам, милые дети!

Нынче не сможет придать вам куража
Старой риторики ветхая пряжа.
Для крыс не ловушка — силлогизмы,
Они перепрыгнут через софизмы.

В голодном желудке местечко готово
Лишь супологике с клецкоосновой,
Лишь мясным аргументам со свежим салатом
Да геттингенским колбасоцитатам.

Немая треска под маслом горячим
Куда милей радикалам бродячим,
Чем златоусты всех времен:
И Мирабо и Цицерон.

16. 1649—1793—???

Меж царевбийц, что ни говори ты, —
Всех неотесанней были бритты:
Без сна всю ночь их Карл провел,
Пред казнью запертый в Уайтхолл,
Он слышал, как чернь внизу ревет,
Как там сколачивают эшафот.

Французы немногим учтивее были.
Луи Капета в пролетке тряской
На лобное место они проводили,

Не обеспечив приличной коляской —
Как полагалось этикетом —
Его величество при этом.

Но хуже пришлось Марии-Антуанетте, —
Ее свезли на кабриолете;
Ни камергера ни статс-дам,
Лишь санкюлот сидел с ней там.
Капегова вдовушка тут уж, пожалуй,
Отвислую габсбургскую губку поджала.

Французам и бриттам — такт не сродни
По самой природе; тактичны одни
Немцы. Немец — он не теряет такта
Хотя б и в террористических актах.
Такая в немце кровь течет:
Монархам воздавать почет.

Шестерка коней в экипаже придворном,
В черных султанах и в крепе черном,
Траурный кнут, и такие же вожжи,
И плачущий кучер, — так, раньше иль позже,
Немцы монарха на плаху доставят
И верноподданнически обезглавят.

**РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
1853—1856 ГОДОВ**



1

В их поцелуях крылся путь к изменам,
От них я пьян был виноградным соком,
Но смертный яд с ним выпил ненароком,
Благодаря кузинам и кузенам.

Спасенья нет моим гниющим членам,
Прирос к одру я неподвижным боком,
Погибла жизнь в объятье их жестоком,
Благодаря кузинам и кузенам.

Пусть я крещен — есть след в церковной книге —
И надо бы мне, прежде чем остынуть,
Дать отпущенье им в моих несчастьях, —

Но легче мне, в мечтах о смертном миге,
Их не простить — безжалостно проклясть их:
Дай, боже, им измучиться и сгинуть!

2. ОРФЕИСТИЧЕСКОЕ

В недобрый час тебе кинжал
Недобрым демоном был вложен в руку.
Не знаю имени его,
Но знаю — яд усилил раны муку.

В ночной тиши я мнил не раз:
Из преисподней должен ты подняться,
Мне все загадки разрешить
И предо мной посылно оправдаться.

Я жду тебя — приходи скорей!
Иль сам спущусь я в ад, не взвидев света,
Чтоб там тебя пред Сатаной,
Пред сбродом дьявольским привлечь к ответу.

Сойдя туда, я, как Орфей,
Преодолею страх перед геенной
И отыщу тебя, хотя б
Ты скрылся в бездне самой сокровенной.

В аду, в стране кромешных мук,
Под скрежет и под хруст я не премину
С тебя сорвать мишурный хлам,
Великодушья лживую личину.

Я знаю все, что знать хотел:
Ты мной прощен теперь, виновник смерти,
Но воспретить не в силах я,
Чтоб там тебе в лицо плевали черти.

3

«Вспоминать о нем не надо!» —
Так не раз мне говорила
Эстер Вольф, старуха. Эту
Фразу память сохранила.

Пусть о нем забудут люди,
Как о выходце из ада.
Он проклятия достоин,
Вспоминать о нем не надо!

Сетуй, жалуйся ты, сердце,
Если в этом есть отрада,
Но о нем — о нем ни слова,
Вспоминать о нем не надо!



Г. Гейне

Мраморная доска работы скульптора Г. Бервальда

Вспоминать о нем не надо
В песнях, в книгах. В царстве мрака,
В смрадной яме, мною проклят,
Пусть сгниет он, как собака.

Даже в день, когда архангел
Мертвецов в гробах разбудит
И на Страшный суд последний
Собирать восставших будет

И начнется перекличка
Всех, кому дана награда —
Светлый рай обетованный, —
Вспоминать о нем не надо!

4

В диком бешенстве ночами
Потрясаю кулаками
Я с угрозой, но без сил
Никнут руки — так я хил!
Плотью, духом изможденный,
Гибну я, неотомщенный.
Даже кровная родня
Мстить не станет за меня.

Кровники мои, не вы ли
Сами же меня сгубили? —
Ах! Измены черной дар —
Тот предательский удар.
Словно Зигфрида-героя,
Ранили меня стрелою —
Ведь узнать легко своим,
Где их ближний уязвим.

5

Тот, в ком сердце есть, — а в сердце
Есть любовь, — наполовину

Тот повержен; так и я вот
Неподвижно с кляпом стыну.

Лишь умру я, вмиг из глотки
Вырвут мой язык сурово,
Чтобы в мир из царства мертвых
Не пришел я молвить слово.

Молча труп сгниет в могиле,
И не выдам речью поздней
Те, с улыбкой столь любезной
Мне подстроены, козни.

6

Я жалил стихом и ночью и днем
Мужчин и девиц степенных,
Дурачеств много творил я притом,
С умом же пропал совершенно.

Зачав, служанка родила, —
К чему хулить природу?
Чья жизнь без глупостей прошла,
Тот мудрым не был сроду.

7. ДОБРЫЙ СОВЕТ

Всегда их подлинную кличку
Давай, мой друг, героям басен.
Сробеешь — результат ужасен!
С твоим ослом пойдет на смычку
Десяток серых дурней, воя:
«Мои ведь уши у героя!
А этот визг и рев с надсадой
Моею отдает руладой:
Осел я! Хоть не назван я,
Меня узнают все друзья,

Вся родина Германия:
Осел тот я! И-я! И-я!»
Ты одного щадил болвана,
Тебе ж грозит десяток рьяно!

8. ОТХОДЯЩИЙ

Все замерло в груди моей:
Волненье, суета страстей,
И гордой ненависти след
Едва не замер, и даже нет
Сознания своих или чуждых невзгод —
Лишь смерть одна во мне живет!

Спускается занавес, пьесе финал!
Зевая, покидает зал
Моя немецкая публикá,
Она не валяет дурака:
О чем ей в жизни унывать? —
Поест, попьет и ляжет спать.
Был прав достойный сын Пеллея,
Роптавший горько в «Одиссее»:
«Живой филистер, самый мизерный,
На Неккаре в Штуккерте, счастливей, наверно,
Чем я, Пелид, бездыханный герой,
Я, призрак, царящий над мертвой толпой».

9. ЦИТРОНИЯ

То были детские года,
Я платьице носил тогда,
Я в школу только поступил,
Едва к ученью приступил.
Двенадцать девочек — вся школа,
Лишь я — герой мужского пола.
В клетушке-комнатке с утра
Весь день возилась детвора:

Писк, лепет, щебетанье, гам;
Как будто птички были там;
Читали хором по складам,
А фрау Гиндерман — барбос;
Украшивший очками нос
(То был скорее клюв совы),
Качая головой — увы! —
Сидела с розгой у стола
И больно малышей секла
За то, что маленький пострел
Невинно нашалить посмел.
Вмиг задирался низ рубашки,
И полушария бедняжки,
Что так малы и так милы,
Порой, как лилии, белы,
Как розы алы, как пионы,
Ах, эти нежные бутоны,
Избиты старою каргой,
Сплошь покрывались синевою!
Позор и поруганье, дети, —
Удел прекрасного на свете.

Цитрония, волшебный край, —
Так звал я то, что невзначай
У Гиндерман открылось мне,
Подобно солнцу и весне,
Так нежно, мягко, идеально,
Цитронно-ярко и овално,
Так мило, скромно, смущено
И гнева гордого полно.
Цветок любви моей, не скрою,
Навеки я пленен тобою!
Стал мальчик юношей, а там —
Мужчиною по всем правам.
И чудо! — Золотые сны
Ребенка в явь воплощены:
То, чем я бредил в тьме ночной,
Живое ходит предо мной.

Ко мне доносится сквозь платье
Прелестный запах, — но, проклятье!—
На что глядел бы я веками,
То скрыто от меня шелками!
Завесой тоньше паутины
Лишен я сладостной картины;
Закрyla ткань волшебный край
Цитронию, мой светлый рай!

Стою, как царь Тантал: дразня,
Фантом уходит от меня,
Как будто волей злого мага
Бежит от губ сожженных влага.
Мой плод желанный так жесток,
Он близок, но, увы, далек!
Клянy злодея-червяка,
Что на ветвях прядет шелка,
Клянy ткача, что из шелков,
Из этой пряжи, ткет покров,
Тафту для пакостных завес,
Закрывших чудо из чудес,
Мой солнечный, мой светлый рай,
Цитронию, волшебный край!

Порой, забывшись, как в чаду, —
В безумье бешенства, в бреду
Готов я дерзостной рукой
Сорвать тот полог роковой,
Покров, дразнящий сладострастье,
Схватить мое нагое счастье!..
Но ах, есть ряд соображений
Не в пользу таких движений:
Нам запретил моральный кодекс
Посягновение на родех.

П о с л е с л о в и е

Без прикрас, в укромном месте
Расскажу я вам по чести

Очень точно и правдиво,
 Что Цитрония за диво.
 А пока — кто понял нас —
 Чур молчать! — заверю вас,
 Что искусство есть обман,
 Некий голубой туман. —
 Что ж являл собой подснежный
 Голубой цветок, чей нежный
 Романтический расцвет
 Офтердингеном воспет?
 Синий нос крикливой тетки,
 Что скончалась от чахотки
 В заведеньи для дворян?
 Чей-то голубой кафтан?
 Иль, быть может, цвет подвязки,
 Что с бедра прелестной маски
 Соскользнула в контрдансе? —
 Nonny soit qui mal у pense! *

10

Букет Матильды, дышавший весной,
 Мне принесенный, — дрожащей рукой
 Я отстранил: ведь без печали
 Им любоваться могу едва ли.

Твердят цветы, что больше мне
 Не жить уж радостью вполне,
 Что, ложу смертному обреченный,
 Я только труп непогребенный.

Когда цветы я вижу, меня
 Рыданья дұшат. От блеска дня,
 Где солнце, и радость, и жизнь, и грезы,
 Остались мне одни лишь слезы.

* Пусть будет стыдно тому, кто подумает об этом дурно! (Надпись на английском ордене Подвязки.)

Как я любил в пыли кулис
Смотреть на пляс театральных крыс!
Теперь я слышу, теряя силы,
Церковных крыс и кротов могилы.

О запах розы! В тебе мой взор
Находит балет и целый хор
Благоуханных воспоминаний —
Весь мир движений, прыжков, звучений,

Стук кастаньет и звон цимбал,
Коротких юбочек полный зал;
Но этот смех, щебетанье, взгляды
Во мне родят лишь горечь досады.

Конец всем розам! Я сносить не в силах
Их запах — память вёсен милых,
Что зло твердит мне о днях удачи.
При виде роз мне грустно, я плачу.

11

Мой день был ясен, ночь моя светла.
Всегда венчал народ мой похвалами
Мои стихи. В сердцах рождая пламя,
Огнем веселья песнь моя текла.

Цветет мой август, осень не пришла,
Но жатву снял я: хлеб лежит скирдами.
И что ж? Покинуть мир с его дарами,
Покинуть все, чем эта жизнь мила!

Рука дрожит. Ей лира изменила.
Ей не поднять бокала золотого,
Откуда прежде пил я своевольно.

О, как страшна, как мерзостна могила!
Как сладостен уют гнезда земного!
И как расстаться горестно и больно!

12

Твоим, овечка, пастухом
Я был в пути твоём земном;
Тебя я хлебом всласть кормил,
Водой колодезной поил;
Тебе от зимней вьюги кров
Был на груди моей готов.
Здесь ты вкушала мир глубокий;
И — ливня ль прядали потоки,
И был ли волк меж просек тусклых,
Ручей ли был в скалистых руслах —
Ты не дрожала, не таилась...
Когда же молния вонзилась
В гигантшу-ель, был благ и тих
Твой сон в объятиях моих.

Но гаснет жизнь. Как тень тиха,
Крадется смерть! Роль пастуха
Пришла к концу. Страшась разлуки,
Мой бог, в твою влагаю руки
Свой посох я. — Возьмись же впредь
За горемыкою смотреть.
Когда умру, пекись о том,
Чтоб не поранилась шипом;
Ее руно храни от терний,
От грязных топей в час вечерний,
Блюда за тем, чтоб корм цветущий
У ног ее стелился гуще
И чтобы сон ее был тих,
Как днесь в объятиях моих.

13

Я чашу страсти осушил
Всю до последнего глотка,
Она, как пунш из коньяка,
Нас горячит, лишая сил.

Тогда я, трезвость вохваляя,
Отдался дружбе — мир страстям
Она несет, как чашка чаю
Отраду теплую кишкам.

14

Пылают и пляшут в моем мозгу
Хребты, леса и долины;
Но четкий контур встал, наконец,
Из дикой той мешанины.

Тот город, что в грезе всплыл моей,
То — Годесберг, пожалуй.
Под липой там, у старой корчмы,
Сижу, как не раз бывало.

А в горле так сухо, точь-в-точь проглотил
Закатное солнце с неба.
Корчмарь! Корчмарь! Бутылку вина
Из лучшей бочки мне бы!

Течет лозы целебный сок,
Вливаясь мне прямо в душу,
И, кстати, в глотке моей пожар,
Зажженный солнцем, тушит.

Бутылку еще, хозяин! Пил
Ту первую я без почтения.
За промах мой у тебя, вино,
Смирению прошу я прощенья.

Смотрел на то я, как Драженфельс,
Былой романтики полный,
В лучах заката к Рейну склоняясь,
В его глядится волны.

Внимал виноградарям дальним я
И щебету зябликов прятких
И занят был так, что при питье
Совсем забыл о напитке.

Теперь я носом уткнулся в стакан
И долго вино смакую
Пред тем, как глотнуть мне; все ж порой
Его, не смакую, пью я.

Вот странно-то! — Явственно чудится мне,
Что я за питьем раздвоился:
Гляжу — другой еще бедняк
Со мной к вину примостился.

Как тощ и бледен он на вид! —
Одни сплошные кости! —
Он с горькой насмешкой глядит в лицо,
И я — вне себя от злости.

Парнишка твердит, что он — это я,
Что, мол, мы слиты друг с другом,
И будто оба — один человек,
Охваченный недугом.

Не годесбергская здесь корчма,
А плен каморки душевной,
В Париже, мол, дальнем заперты мы. —
Ты лжешь, болтун тщедушный!

Ты лжешь, ведь я здоров и румян,
Подобен розе цветущей,
Я полон сил, так берегись,
Чтоб я не злился пуще!

Плечами пожал он и молвил: «Дурак!» —
И тем досадил мне так он,

Что с этим вторым проклятым я
Полез, наконец, я в драку.

Вот странно-то! — Каждый удар,
Что рушу я на парнишку,
Бьет больно меня самого, и себе
Я ставлю за шишкой шишку.

В той дикой драке горло мое
Совсем пересохло снова,
Когда ж спросить я хочу вина,
Сказать не могу ни слова.

Теряю сознание, и слышно мне
Сквозь бред — о припарках что-то,
О ложке питья и о том, что в час —
Двенадцать капель по счету.

15

Когда достаточно пиявки сыты,
Слегка лишь надо кожуру
Им посолить, и они спадут —
Тебя ж, мой друг, как я уберу?

Мой друг, мой ангел, вампир мой давнишний,
Где соль для тебя найти бы мне?
Ты так любовно обсосал
Все позвонки в моей спине!

С тех пор я скелету стал подобен,
Я выжат, и мне дышать нелегко, —
А ты, напротив, копишь свой жир,
Цветут твои щечки, растет брюшко.

Пошли мне, бог, удалого убийцу,
Который разом прервет игру!
Ведь этот натужный пьявочный рот,
Сосущий рот — как я уберу?

16

Вечность, ох, как ты долга!
Потерял векам я счет.
Долго жарюсь я, но ад
До сих пор жаркого ждет.

Вечность, ох, как ты долга!
Потерял векам я счет.
Но однажды и меня
Чорт с костями улетет.

17

Час за часом, дни и годы,
Как улитки-тихоходы,
Те, чьи рожки вдаль простерты,
Груз влачат свой полумертвый.

Лишь порой, в пустотах дали,
Лишь порой, сквозь мглу печали,
Свет блеснет неповторимый,
Как глаза моей любимой.

Но в одно мгновенье ока —
Нет виденья, и глубоко
Погружаюсь я в сознание
Всеи бездонности страданья.

18

Тяжело земля больна
И на смерть обречена.
Лучшее, что есть у нас,
Все погибнет в тот же час,

Это что же — бред, фантазмы,
Поднимаясь, как миазмы,
Незаметные для взгляда,
Насыщают воздух ядом?

Что цветов очарованье?
Стбит в солнечном лобзанье
Им раскрыть свой венчик нежный, —
Смерть их скосит неизбежно.

Что героев гордый вид,
Если пуля умертвит,
Если жабами оплеван
Будет их венок лавровый?

Все, что нынче пламенеет,
Через день дотла истлеет;
И ломает от тоски
Гений лиру на куски.

О, как мудры звезды наши!
Шар земной для них не страшен.
Он смертельно занемог,
Но от звезд он так далек!

Звезды мудрые! К чему
Знать им нашу кутерьму?
Вовсе им не интересно
Потерять покой небесный.

Нет охоты гнить им с нами
Тут, в помойной, смрадной яме,
Что червем кишит отвратным,
Тоже малоароматным.

Их убежище — далёко
Над земной, фатальной склокой,
Далекó от шума, гама,
От земного тарарама.

Но, с участием во взоре
Наблюдая наше горе,
Окропит нас иногда
Золотой слезой — звезда.

19. MISERERE

Не жизни любимцев счастья так
Завидую я: поверьте —
Завидую лишь смерти их,
Внезапной и легкой смерти.

Венчаны лаврами, в шелках,
И веселы неизменно
На пиршестве жизни они, а смерть
Разит их косою мгновенно.

В нарядах праздничных своих,
Еще цветами увиты,
Нисходят прямо в мир теней
Фортуны фавориты.

Их не уродовал недуг,
Покойники — с милой миной.
Им благосклонный оказан прием
Царевной Прозерпиной.

Как я завидую их судьбе!
Семь лет страдая ужасно,
В мучительных пытках корчусь я
И смерти все жду напрасно.

Господь, мне пытку сократи,
И пусть похоронят скорее!
Таланта к мукам — знаешь сам —
Я вовсе не имею.

Своей нелогичностью, о господь,
Ты веру мою ослабил:
Меня веселейшим поэтом создав,
Веселье мое ты ограбил.

Страданья глушат веселый мой дух,
И вот — я меланхолик.
Недобрую шутку свою кончай,
Покуда я не католик!

Тогда провою уши тебе
По-христиански чисто.
О, miserere! Приходит конец
Первейшему из юмористов!

20

Как ни прекрасен, — полон мук
Сон этой жизни краткой;
Измучил он меня своей
Жестоккой лихорадкой.

Открой мне, боже, край теней;
Я там, под твоею сенью,
Прильну к прохладному ключу,
Дарящему забвенью.

Забудется все, — одна любовь
Пребудет вечно; ведь Лета —
Лишь сказка греческая, миф
Безлюбного поэта.

21

Песку в часах — лишь горсть одна,
Лишь капля сохранилась;

Сударыня-ангел, моя жена!
За мною смерть явилась.

Смерть тащит меня от тебя, жена,
Тут не поможет сила,
Из тела душу тащит, — она
От страха вся застыла.

Велит ей бросить старый дом,
А ей бы еще хоть немножко!
Дрожит она, молит: «Куда ж я потом?»
Она — как в сите блошка.

Напрасно — молить, ведь судьба решена!
Напрасно — топорщиться, биться:
Душа и тело, муж и жена
Должны, наконец, разлучиться.

22. МОРФИНА

Как велико семейственное сходство
Прекрасных юношей, хотя один бледнее
Пускай, быть может, и намного строже,
Сказала бы я даже — величавей,
Но все ж к нему доверчиво в объятья
Склонялась я не раз... Как взор его
Был счастья полон, как нежна улыбка!
Тогда случилось, что веноч из мака,
Алевший на главе его, касался
И моего чела, благоуханьем
Смирная боль души — на малый срок...
Но лишь тогда смогу я исцелиться
Вполне, когда опустит факел свой
Другой, который так суров и бледен.
Прекрасен сон, прекрасней смерть — но лучший
Удел — не быть рожденной никогда.

23. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оскорбляй бездушьем слов
Пришельца юного, когда
Его ведет к тебе нужда —
Ведь он, быть может, сын богов.

Ты снова встретишься, и что ж? —
Гляди — он в пламенном венце!
И с трепетом в его лице
Себе проклятье ты прочтешь.

24. К СВЕДЕНИЮ

Нет, филистер духом скуден,
Тупоумен, черств и нуден, —
Эту тварь дразнить не стоит.
Только умный, сердцем чуткий,
В нашей острой, легкой шутке
Дружбу и любовь откроет.

25

Ни увереньями, ни лестью
Я юных дев не соблазнял,
Равно и к тайному бесчестью
Замужних женщин не склонял.

Будь грешен я в таких забавах,
Не перепала б ни строка
Моей персоне в книге правых;
Тогда я стоил бы плевка.

26. МОЕМУ БРАТУ МАКСУ

Макс! Так ты опять, проказник,
Едешь к русским! То-то праздник!
Ведь тебе любой трактир —
Наслаждений целый мир!

С первой встречною девчонкой
Ты под гром волторны звонкой,
Под литавры, тра-ра-ра!
Пьешь и пляшешь до утра.

И бутылок пять осия, —
Ты и тут не простофиля —
Полон Вакхом, как начнешь, —
Феба песнями забьешь!

Мудрый Лютер не погубит:
Верно! Лишь дурак не любит
Женщин, песен и вина —
Это знал ты, старина.

Пусть судьба тебя ласкает,
Пусть бокал твой наполняет, —
И сквозь жизнь, справляя пир,
Ты пройдешь, как сквозь трактир.

27. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ГРУБОСТЬ

С грубостью средневековой
Счеты свел расцвет искусства:
Ныне рупор просвещенья
Главным образом — рояль.

И локомотив сегодня
Стал врачом в семейных дрызгах,
Ибо нам он помогает
Убегать от домочадцев.

Очень жаль, что костоеда
В позвонках моих грозитя
Достижений этих сладость
Вырвать скоро у меня!

28. К ТЕЛЕОЛОГИИ

(Отрывок)

Для движенья — труд нелишний! —
Две ноги нам дал всевышний,
Чтоб не стали мы все вместе,
Как грибы, торчать на месте;
Жить в застое род людской
Мог бы и с одной ногой.

Дал господь два глаза нам,
Чтоб мы верили глазам;
Верить книгам да рассказам
Можно и с единым глазом.
Дал два глаза нам всеильный.
Чтоб могли мы видеть ясно,
Как на радость нам, прекрасно
Он устроил мир обильный.
А средь уличного ада
Смотришь в оба поневоле,
Чтоб не стать, куда не надо,
Чтоб не отдавить мозоли:
Мы ведь горькие страдальцы,
Если жмет ботинок пальцы.

Две руки даны нам были,
Чтоб добро вдвойне творили,
Но не с тем, чтоб грабить вдвое,
Прикарманивать чужое,
Набивать свои ларцы,
Как иные молодцы.
(Четко их назвать и ясно —

Очень страшно и опасно;
Удавить! Да вот беда:
Всё большие господа, —
Меценаты, филантропы,
Люди чести, цвет Европы,
А у немцев нет сноровки
Для богатых вить веревки.)

Нос один лишь дал нам бог:
Два нам были бы не впрок;
Сунув их в стакан — едва ли
Мы б вино не разливали.

Бог нам дал один лишь рот,
Ибо два — большой расход.
И с одним сыны земли
Наболтали, что могли.
А двуротый человек
Жрал и лгал бы целый век.
Так, — пока во рту жратва,
Не бубнит людское племя;
А имея сразу два —
Жри и лги в любое время!

Нам господь два уха дал:
В смысле формы — идеал!
Симметричны и равны,
И чуть-чуть не столь длинны,
Как у серых, незлонравных
Наших родственников славных.
Дал господь два уха людям,
Зная, что любить мы будем
То, что пели Моцарт, Глюк;
Будь на свете только стук,
Грохот рези звуковой,
Гемороидальный вой
Мейербера — для него
Нам хватило б одного.

Тевтелинде в поученье
Врал я так на всех парах, —
Но она сказала: «Ах!
Божье разбирать решенье,
Сомневаться, прав ли бог!
Ах, преступник, ах, безбожник!
Видно, захотел сапог
Быть умнее, чем сапожник!
Но таков уж нрав людской —
Чуть заметим грех какой:
Почему, да почему?
Друг, я верила б всему,
Мне понятно то, что бог
Мудро дал нам пару ног,
Глаз, ушей и рук по паре,
Что в одном лишь экземпляре
Подарил нам рот и нос,
Но ответь мне на вопрос:
Почему творец светил
Столь небрежно упростил
Ту срамную вещь, какой
Наделен весь пол мужской,
Чтоб давать продленье роду
И сливать, вдобавок, воду?
Друг ты мой, иметь бы вам
Дубликаты для раздела
Сих важнейших функций тела,
Ведь они, по всем правам,
Сколь для личности важны,
Столь, равно, и для страны!
Девушку терзает стыд
От признанья, что разбит
Идеал ее, что он
Так банально осквернен.
И тоска берет Психею —
Ведь какой свершила тур,
А под лампой стал пред нею
Меннкен-Писсом бог Амур!»

Но на сей резон простой
 Я ответил ей: «Постой!
 Скуден женский ум и туг:
 Ты не видишь, милый друг,
 Смысла функций, в чем зазорном,
 Отвратительном, позорном,
 Ужасающем контрасте —
 Вечный срам двуногой касте.
 Пользу бог возвел в систему:
 В смене функции машин
 Для потребностей мужчин
 Экономии проблему
 Разрешил наш властелин.
 Нужд вульгарных и священных,
 Нужд пикантных и презренных
 Существо упрощено,
 Воедино сведено.
 Та же вещь мочу выводит
 И потомков производит,
 В ту же дудку жарит всяк —
 И профессор, и босяк.
 Грубый перст и пальчик гибкий
 Оба рвутся к той же скрипке,

 Каждый пьет и жрет и дрыхнет,
 И все тот же фаэтон
 Смертных мчит за Флегетон».

29. АЛЛИЛУЙЯ

В вас, солнце, звезды и луна,
 Мощь вседержителя видна.
 Чуть праведник на небо глянет —
 Творца хвалить и славить станет.

По высям взор мой не витает, —
 Здесь, на земле, и без небес

Искусство божье поражает
Необычайностью чудес.

Да, други, взор моих очей
На землю скромно устремлен,
Шедевр творения здесь он
Находит: то сердца людей.

Как солнце ни горит огнем,
Как нежно в сумраке ночном
Ни блещет месяц, яркость звезд,
Как ни искрист кометы хвост, —

Лучи надоблачных лампад —
Они грошовых свеч огарки,
Когда подумаешь, как жарки
Сердца, что пламенно горят.

Весь мир в миниатюре в них:
Здесь дол и лес до гор крутых;
Пустыни с дикими зверями,
Что сердце нам скребут когтями;

Здесь водопады, рек приливы,
Зияют пропасти, обрывы;
Сады цветут; в лугах среди кашки
Ослы пасутся и барашки;

Здесь бьет фонтан струей беспечной;
Влюбленно соловьи-бедняги,
В честь пышных роз слагая саги,
Мрут от чахотки скоротечной.

Здесь все идет своей чредой;
Сегодня — солнышко и зной,
А завтра — осень настает,
На лес и луг туман плывет,

Цветы роняют свой наряд,
Ветрила бурные шумят,
И хлопьями клубится снег,
Лед прячет зыбь озер и рек.

Приходит время зимней встряски.
Все чувства надевают маски.
Влечет веселый карнавал,
И опьяняет шумный бал.

Но в общем вихре ликованья
Таятся горькие страданья.
Звонит сквозь пестрый котильон
О промелькнувшем счастье стон.

Вдруг треск. Не бойся, все пройдет. —
То, дрогнув, надломился лед,
Растаял пласт коры морозной,
Сковавший сердце силой грозной.

Прочь все, что хладно и сурово!
Вернулись радости — ура!
Весна — прекрасная пора —
От чар любви воскресла снова.

Создатель! Благодать твою
Познали небо и земля
И «кирие элейсон» я
И «аллилуйя» воспою.

Как милосерд, как добр господь
К людским сердцам, и нашу плоть
Своим он духом оживил, —
Тот райский дух — любовный пыл.

Сгинь, Греция, с бряцаньем лир!
Сгинь, пляска муз, весь древний мир
Сластолюбивый, сгинь! Я пеньем
Творца воссдавлю с умилением.

Сгинь, звон языческих пиров!
На арфе, в трепете святом,
Как царь Давид, спою псалом!
Лишь «аллилуйя» — гимн певцов!

30. ЗАВЕЩАНИЕ

Пора духовную писать,
Как видно, надо умирать.
И странно только мне, что я ране
Не умер от страха и страданий.

О вы, краса и честь всех дам,
Луиза! Я оставляю вам
Шесть грязных рубах, сто блох на кровати
И сотню тысяч моих проклятий.

Тебе завещаю я, милый друг,
Что скор на совет, а на дело туг,
Совет, в воздаянье твоих; он краток:
Возьми корову, плоды теляток.

Кому свою веру оставлю в отца
И сына и духа, — три лица?
Император китайский, раввин познанский
Пусть поровну делят мой дух христианский.

Свободный, народный немецкий пыл —
Мыльный пузырь из лучших мыл —
Завещаю цензору града Кревинкель;
Питательней был бы ему пумперникель.

Деяния, коих свершить не успел,
Проект отчизноспасательных дел
И от похмелья медикамент
Тебе завещаю, германский парламент.

Ночной колпак белее чем мел
Оставлю кузену, который умел
Так пылко отстаивать право бычье;
Как римлянин истый, молчит он нынче.

Охраннику нравственных высот,
Который в Штутгарте живет, —
Один пистолет (но без заряда),
Может жену им пугать изрядно.

Портрет, на коем представлен мой зад, —
Швабской школе; мне говорят,
Мое лицо вам неприятно —
Так наслаждайтесь частью обратной.

Завещаю бутылку слабительных вод
Вдохновенью поэта; который год
Страдает оно запором пенья.
Будь вера с любовью ему в утешенье.

Сие же припись к духовной моей:
В случае если не примут вещей,
Указанных выше, — все угожья
К святой католической церкви отходят.

31. МУШКЕ

Тебя мой дух заворожил.
И, чем горел я, чем я жил,
Тем жить и тем гореть должна ты,
Его дыханием объята.

С тобой навеки сопряжен,
Где будешь ты, там будет он,
Покой твой даже и на ложе
То смехом, то мольбой тревожа.

В могилу лег я — плотью тлеть,
Но дух мой будет жить и впредь;
Он бдит, как нечисть домовая,
В твоём сердечке, дорогая.

Там гнездышко ему упрочь,
Ведь призрак не отгонишь прочь:
Будь ты в Японии ль, в Китае —
Ты не отгонишь негодая.

Везде, куда ни полетишь,
Ты дух мой в сердце повлачишь,
И жить должна ты, чем я жил, —
Тебя мой дух заворожил.

32. ЛОТОС

(Мушке)

Поистине, мы являем
Курьезную пару с тобой;
Подруга слаба на ножках,
Возлюбленный — тот хромой.

Она — котеночек хилый;
Как пес больной, он зачах;
Пожалуй, у них обоих
Неладно в головах.

Цветком себя мнит подруга,
Влюбленным лотосом мнит,
А он, ее бедный спутник,
Являет месяца вид.

Она раскрывает чашу
И ловит месячный свет,
Но ей не жизнь достается
В удел, а только совет.

33

Вместо дел — засилье слова!
Ты, как кукла, на диете:
Постный дух — взамен жаркого,
Клецки, друг, и те в запрете!

Но в любви тебе, пожалуй,
Были б вредны чересчур
Шпоры страсти одичалой,
Ласки длительный аллюр.

Тратить силы нет расчета:
Принесли б тебе урон
Steeple-chase *, любви охота,
Бег с любимым вперегон.

Здоровей тебе возня
С хилым спутником была б,
У кого, как у меня,
Каждый орган в теле слаб.

Так что, друг, ко мне ты льни
Больше сердцем, чем натурой;
Ты свои умножишь дни
Этой чувственной микстурой.

34

Вели иссечь меня хлыстами,
Вели с лица мне кожу драть,
Пытай калеными клещами —
Лишь не вели мне ждать и ждать!

Вели — с жестокостью ужасной —
Дробить мне кости ног и рук,

* скачка с препятствиями

Но ждать не обрекай напрасно:
Ведь ждать — горчайшая из мук!

Вплоть до шести прождал вчера я,
Но тщетно — знаешь ты сама.
Ты не пришла, колдунья злая,
И я почти сошел с ума.

Меня давило нетерпенье
Кольцом удава; что ни миг,
Я на звонки бежал в волнение,
Но ты не шла — я снова ник!

Ты не пришла. Я бесновался.
А Сатана шептал мне так:
«Цветочек лотоса смеялся,
Как видно, над тобой, дурак!»

35

Я видел сон: луной озарены,
Кругом теснились бледные виденья:
Обломки величавой старины,
Разбитые шедевры Возрожденья.

Лишь кое-где, дорически строга,
Не тронутая гибелью колонна,
Глумясь, глядела в твердь, как на врага,
Перед ее громами непреклонна.

Повержены, кругом простерлись ниц
Порталы, изваянья, колоннады, —
Застывший мир людей, зверей и птиц,
Кентавры, сфинксы, божества и гады.

Так много статуй женских из травы,
Из сорняков глядели ввысь уныло;
И время, злейший сифилис, увы! —
Изящный нос наяды провалило.

И я увидел древний саркофаг,
Он уцелел под грудами развалин.
Там некто спал вкусивший вечных благ,
И тонкий лик был нежен и печален.

Кариатиды, в скорби онемев,
Держали гроб недвижно и сурово,
А по бокам чеканный барельеф
Изображал события былого.

И мне предстал Олимп, гора богов,
Развратные языческие боги;
С повязками из фиговых листков
Адам и Ева, полные тревоги.

И мне предстал горящий Илион,
Ахилл и Гектор в беге беспримерном,
И Моисей, и дряхлый Аарон,
Эсфирь, Юдифь и Гаман с Олоферном.

И были там Амур, шальной стрелок, —
И госпожа Венера, и Меркурий,
Приап, Силен и Бахус, пьяный бог,
И сам Плутон, владыка злобных фурий.

А рядом — мастер говорить краснó,
Преславная ослица Валаама;
Там — Лот, бесстыдно хлещущий вино,
Здесь — жертвоприношенье Авраама.

Там голову Крестителя несут,
И пляшет пред царем Иродиада;
Здесь — Петр-ключарь, и рай, и Страшный суд,
И Сатана — над черной бездной ада.

Вот бог Юпитер соблазняет жен,
Преступный лик в личине чуждой спрятав:
Как лебедь был он с Ледой сопряжен,
Прельстил Данаю ливнем из дукатов.

За ним Диана в чаще вековой
И свора псов над их добычей жалкой.
И Геркулес — неистовый герой —
Сидит в одежде женщины за прялкой.

Святой Синай главу в лазурь вознес,
Внизу Израиль пляшет пред шатрами,
За ними отрок Иисус Христос,
Он спорит с ортодоксами во храме.

Прекрасный грек и мрачный иудей!
Везде контраст пред любопытным взором,
И ярый хмель, как хитрый чародей,
Опутал все причудливым узором.

Но странный бред! Покуда без конца
Передо мной легенды проходили,
Себя узнал я в лике мертвеца,
Что тихо грезил в мраморной могиле.

Над головой моею рос цветок,
Пленявший ум загадочною формой.
Лилово-желт был каждый лепесток —
Их красота приковывала взор мой

Народ его назвал цветком страстей.
Он на Голгофе вырос, по преданью,
Когда Христос принял грехи людей
И кровь его текла священной данью.

О крови той свидетельствует он, —
Так говорят доверчивые люди, —
И в чашечке цветка запечатлен
Весь реквизит мучительных орудий,

Все, чем палач воспользоваться мог,
Что изобрел закон людей суровый:
Щипцы и гвозди, крест и молоток,
Веревка, бич, копьё, венец терновый.

Цветок, дрожа, склонялся надо мной,
Лобзал меня, казалось, полный муки.
Как женщина, в тоске любви немой
Ласкал мой лоб, мои глаза и руки.

О волшебство! О незабвенный миг!
По воле сна цветок непостижимый
Преобразился в дивный женский лик,
И я узнал лицо моей любимой.

Дитя мое! В цветке таилась ты,
Твою любовь мне возвратили грезы,
Подобных ласк не ведают цветы,
Таким огнем не могут жечь их слезы!

Мой взор затмила смерти пелена.
Но образ твой был снова предо мною.
Каким восторгом ты была полна,
Сияла вся, озарена луною.

Молчали мы! Но сердце — чуткий слух,
Когда с другим дано ему слиянье;
Бесстыдно слово, сказанное вслух,
И целомудренно любовное молчанье.

Молчанье то красноречивей слов!
В нем не найдешь метафор округленных,
Им скажешь все без фиговых листков,
Без ухищрений риториков салонных.

Безмолвный, но чудесный разговор,
Одна лишь мысль, без отзыва, без эха!
И ночь летит, как сон, как метеор,
Вся сплетена из трепета и смеха.

Не спрашивай о тайне тех речей!
Спроси, зачем блестит светляк полночный,
Спроси волну, о чем поет ручей,
Спроси, о чем грустит зефир восточный,

Спроси, к чему цветам такой убор,
Зачем алмаз горит в земной утробе,
Но не стремись подслушать разговор
Цветка страстей и спящего во гробе.

Лишь краткий миг, в покое гробовом
Завороженный, пил я наслажденье.
Исчезло все, навеянное сном,
Растаяло волшебное виденье.

О смерти! Лишь ты, всеильна, как судьба,
Даруешь нам блаженства сладострастье;
Разгул страстей, без отдыха борьба —
Вот глупой жизни призрачное счастье!

Как метеор, мой яркий сон мелькнул,
В блаженство грез ворвался грохот мира,
Проклятья, спор, многоголосый гул, —
И мой цветок увял, поникнув сиром.

Да, за стеной был грохот, шум и гам,
Я различал слова жестокой брани.
Не барельефы ль оживали там
И покидали мраморные грани?

Иль призрак веры в схемах ожил вновь,
И камень с камнем спорит, свирепея,
И с криком Пана, леденящим кровь,
Сплетаются проклятья Моисея?

Да, Истине враждебна Красота,
Бесплоден спор, и вечны их разлады,
И в мире есть две партии всегда:
Здесь — варвары, а там — сыны Эллады.

Проклятья, брань! Какой-то дикий рев!
Сей нудный диспут мог бы вечно длиться...
Но, заглушив пророков и богов,
Взревела Валаамова ослица.

«И-а! И-а!» — визжал проклятый зверь,
И он туда ж, в премудрый спор, пустился!
Как вспомню, дрожь берет еще теперь,
Я сам завыл со сна — и пробудился.

ВАРИАНТЫ
И
КОММЕНТАРИИ



ВАРИАНТЫ

ПОЛЕ БИТВЫ ПРИ ГАСТИНГСЕ

В вариантах рукописи «Романцero», извлеченной Штродтманном (в дальнейшем будет именоваться — «Рукопись Штродтманна») вместо 13-й строфы имеется следующая строфа:

Ее он любил и лобзал горячо,
И пыл его страсти не стынул
В объятьях любимой, — но все же потом
Отверг он ее и покинул.

ПОМАРЕ

В «Рукописи Штродтманна» после 5-й строфы:

С ней портной поджарый пляшет,
Некий Притчард от иголки;
Ни изящества, ни такта,
Только прыгает без толку.

Добродетели блюститель
Был бы рад упечь танцора,
Да боится, что пройдоха
Из кутузки выйдет скоро.

ИСПАНСКИЕ АТРИДЫ

В «Рукописи Штродтманна» после 7-й строфы:

Рассказал он, между прочим,
Как велел король жестокий,

Своему кузену руки —
Дону Гастену — отсечь

Лишь за то, что тот несчастный
Был поэтом и приснилось
Королю, что сочиняет
На него кузен сатиру.

ЮНЫМ

В «Album Originalpoesien, herausgegeben von Puttmann» (1847)
вместо последней строфы:

Вот наше владенье! В пылу испугленья
Мы слышим разбитых бокалов трезвон.
Не страшно паденье, в победном сраженьи
Смерть будет прекрасной — возьмем Вавилон!

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

В «Рукописи Штротдманна» вместо 2-й строфы:

Ночью хочешь в страсти жадно
К ним любовно прикоснуться,
А они к тебе злорадно
Вдруг спиною повернутся.

ПОГИБШИЕ НАДЕЖДЫ

В «Рукописи Штротдманна» вместо последних двух строф:

Прочь, проклятые надежды,
Лживых, злобных духов стая, --
Я калекой безнадежным
Корчусь, в муках изнывая.

В муках я умру, подрезан
В самом корне бытия —
Ах, пинком ноги жестоким
Прямо в сердце ранен я.

ИЕГУДА БЕН-ГАЛЕВИ

В «Рукописи Штротдманна» вместо последней строфы 2-й главы:

И Иегуду бен-Галеви
Потянуло в путь, он сел
На испанскую фелуку
И в Египет был доставлен.

Из Египта с караваном
Он в Аравию пустился
И, пройдя песком-пустыней,
Прибыл в Иерусалим.

Сидя среди развалин храма,
Пел он тихо песню скорби,
Знаменитый гимн «Сион»,
И погиб, копьем сраженный.

ДИСПУТ

В «Рукописи Штротдманна» вместо 21-й строфы:

Сих дворян без крайней плоти
Наградил король безмерно;
Этот люд без крайней плоти,
Этих рыцарей безмерно
Сам король ценил за то, что
Те ему служили верно:

Этот — ловким казначеем,
Тот — отважным кабалеро,
Вплоть до дня, пока не стал он
Жертвой дона Транставера.

В «Рукописи Штротдманна» вместо 45-й и 46-й строф:

Застарелой вашей злобы
Вы с души омойте плесень,
Паразитов зла стряхните,
Удостойтесь райских песен.

В «Рукописи Штротдманна» вместо 53-й и 54-й строф:

Чаши для вина на небе
Несомненно станут шире;
Женский ротик станет меньше,
Чем внизу здесь, в этом мире.

В «Рукописи Штротдманна» вместо 60-й строфы:

О твоей священной тройце
Я беседу предлагаю
В новолуние — в ту пору
Столь разумным не бываю,

Как в лучах дневного света,
В блеске солнца золотого,
Где царит неоспоримо
Сухость правила тройного.

В «Рукописи Штротдманна» вместо 84-й строфы:

Так противника прельщает
Рабби, будто змей библейский,
И облизывает пальцы
В славу пищи иудейской.

Усмехаются евреи
И приходят в ликованье,
И ножи скорей хватают
Для свершенья обрезанья.

В «Рукописи Штротдманна» вместо предпоследней строфы:

Донья Бланка на него
Долго смотрит в размышленье,
Охватив лицо руками,
И выводит в заключение:
[Бланка на него взглянула,
Долго думала сначала,
На ладонь склонив голову,
И, зевнув, она сказала:]

АФФРОНТЕНБУРГ

В «Рукописи Штротдманна» вместо 11—13-й строфы:

Тот страшный, нездоровый яд
Позднее умертвил жестоко
И соловья, что песню пел
Для роз, увядших прежде срока.

И страхом призраков объят,
В веселый, яркий день порою
Я с ужасом внимал в саду
Далеким псам — их злomu вою.

Зеленый призрак, скаля пасть,
Глумясь, грозил мне и во мраке
Меня пугал, как трупный смрад,
Далекий лай цепной собаки.

СТРЕКОЗА

В Schads «Musenalmanach» напечатана первоначальная редакция стихотворения:

Жукландия — край прекрасный:
Там стрекоза голубая жила,
Всех мотыльков с ума посвела,
В нее влюбленных страстно.

Ивящней ног — нет в мире,
Наряд крылатый — легкий газ.
Вся — очарование для глаз,
Когда резвится в эфире.

Летят толпою яркой
За ней волокиты, и каждый франт
Клянется: «Голландию дам и Брабант, —
Ответь моей страсти жаркой!»

В ответ им — плутовка томно:
«Голландия мне и Брабант не нужны;

Вы искру мне добыть должны:
Живу я в квартире темной».

При звуке последней нотки
Летят, соревнуясь, поклонники прочь.
Усердно разыскивают день и ночь
Искорку для красотки.

Лишь кто заметит свечку,
И, как зачарован, сразу — в огонь!
А беднягу-жука только пламя тронь, —
Сгорит и он и его сердечко.

Японская это басня,
Но и в Германии таких
Много стрекозок. Бойтесь их:
Они коварней, опасней.

ПОЭТИКО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ КОТОВ

В «Рукописи Штротдманна» после 6-й строфы:

Безыскусственной музыки хочет он,
И от парико-влиятельный
Поэтико-музыку освободить —
Цветок голубой мечтаний —

БИМИНИ

В «Letzte Gedichte und Gedanken von Heinrich Heine. Aus dem Nachlasse des Dichters zum ersten Male veröffentlicht. Hamburg. 1869» вместо первых двадцати девяти строф:

О Колумбе, о Кортесе,
О Пизарро и Бильбао
Вам не раз твердили в школе,
И они знакомы вам,

Но едва ли вам известен
Их сподвижник-современник,

Мореплавателъ отважный
 Дон Хуан Понсе-де-Леон,
 Что открыл в те дни Флориду

и т. д.

Точно так же в одной фрагментарной записи, сделанной рукою секретаря Г. Гейне Рихарда Райнгарда, последние семнадцать строф сведены к трем строфам:

Муза, крошка-ворожея,
 Преврати в корабль ты песню,
 И под парусом надутым
 Мы помчимся к Бимини.

Кто со мной на Бимини?
 Эй, месье, медам, — прошу вас!
 При попутном ветре живо
 Мы причалим к Бимини.

Крошка-пташка Колибри,
 Крошка-рыбка Бридиди,
 И летите, и плывите,
 Путь кажите к Бимини.

ДОБАВЛЕНИЯ

ДА, ПТИЧКА ПЕВЧАЯ МЕРТВА

В 1837 г. редакция и издательство «Телеграфа» (Карл Гуцков и Юлиус Кампе) объявили конкурс на лучшее лирическое стихотворение. В качестве премии было обещано золотое перо. Представленная продукция оказалась столь низкого качества, что объявленная премия была отменена 8 февраля 1838 г., а деньги (12 дукатов) переданы комитету по установлению Лессингу памятника в Брауншвейге. Тогда же, 19 декабря 1837 г., Г. Гейне адресовал Кампе следующее четверостишие:

Да, птичка певчая мертва,
 Мой друг, оставь ее в покое.
 Ты преспокойно можешь в зад
 Перо засунуть золотое.



КОММЕНТАРИИ

«Многое сходит со мной в могилу, что порадовало бы людей, но слезами горю не поможешь», — писал Г. Гейне Юлиусу Кампе 9 июля 1848 г. (см. письмо к Юлиусу Кампе, XII т. Собр. соч. Г. Гейне, стр. 104). К счастью для мировой литературы, тяжело больной поэт прожил после этих слов еще восемь лет и смог порадовать людей такими шедеврами, как сборник стихотворений «Романцеры», такими прекрасными поэтическими творениями, как «Стихотворения 1853 и 1854 гг.» и «Бимини».

Но если смерть предоставила Г. Гейне длительную отсрочку, с такой энергией использованную им для нового творческого взлета, то болезнь — тяжкая и безмерно мучительная — ни на одну минуту не выпускала Г. Гейне из своих цепких лап. Еще в 1846 г., в пору, когда Г. Гейне только приступал к «Романцеры», он жаловался Фердинанду Лассалю: «Каждое письмо стоит мне куска жизни» (XII т. данного Собр. соч. Г. Гейне, стр. 89); тогда же в письме, адресованном Фарнгагену-фон-Энзе, Г. Гейне писал: «В последнее время я никуда не гожусь, и даже писание непрерывно напоминает мне о моих немощах: я почти не в состоянии взглянуть собственный почерк, — ведь один глаз у меня совсем закрыт, а другой уже тоже закрывается, и каждое письмо для меня мучение!» (XII т. Собр. соч., стр. 82). Через два года Г. Гейне — полуслепой и безнадежно разбитый параличом — окончательно свалился в постель, усталенную, в целях облегчения страданий больного, дюжиной тюфяков и, в связи с этим, прозванную поэтом не без горькой иронии «матрацной могилкой».

Зная, что он навеки расстается с природой и со всей той бурной и красочной жизнью, которая так часто радовала и вдохновляла его, Г. Гейне, прежде чем слечь в «матрацную могилу», отправился в свою последнюю прогулку по улицам Парижа. «Это было, — рассказывает он в «Послесловии к «Романцеры», — в мае 1848 г., в день, когда я в последний раз вышел из дому и простился с милыми кумирами, которым поклонялся во времена моего счастья. Лишь с трудом удалось мне дотянуться до Лувра, я чуть не упал от слабости, войдя в благородный зал, где стоит на своем постаменте вечно благословенная богиня красоты, наша мать божья

из Милоса. Я долго лежал у ее ног и плакал так горестно, что слезами моими тронулся бы даже камень. И богиня глядела на меня с высоты сочувственно, но так безнадежно, как будто хотела сказать: «Разве ты не видишь, что у меня нет рук и я не могу тебе помочь?»

Боль и грустное сознание своей обреченности, которыми окрашен рассказ поэта об этой последней в его жизни прогулке, никогда более не оставляли Г. Гейне и в сильнейшей мере сказались на его творчестве предсмертного периода.

Нет сомнения, что на душевное состояние умиравшего Г. Гейне в немалой мере оказала влияние и тяжелая семейная драма, разыгравшаяся опять-таки в пору начала работ над «Романцero» вокруг вопроса о наследстве дяди поэта, Саломона Гейне. Когда сын и наследник Саломона Гейне, Карл, попытался было лишить поэта ежегодной субсидии, которую тот получал при жизни своего дяди, Г. Гейне, глубоко потрясенный и обеспокоенный не только своим будущим, но и судьбой своей жены Матильды, вынужден был пойти на весьма неприятную сделку. В обмен на обещание восстановить субсидию, поэт дал обязательство не писать ничего предосудительного о своих родичах. Удар, однако, был столь силен, что 3 января 1846 г. Г. Гейне жаловался своему другу Фарнгагену-фон-Энзе: «Предательство, совершенное в отношении меня в лоне семьи, поразило меня, как гром среди ясного неба, и ранило почти смертельно» (XII т. Собр. соч., стр. 83).

В творчестве последних лет Г. Гейне эти болезненные семейные переживания также нашли — и не только косвенное, но и прямое — выражение (см. «Дурные сны», «Аффронтенбург», «В их поцелуях крылся путь к изменам» и др.).

Говоря в цитированном выше письме к Фарнгагену-фон-Энзе о своих семейных потрясениях, Г. Гейне не преминул обозвать их виновников «пресмыкающейся посредственностью», которая «двадцать лет со злобной завистью подстерегала гения» и «дождалась, наконец, своего победного часа». «В сущности, — делает заключение Г. Гейне, — это старая история, которая всегда повторяется» (XII т. Собр. соч., стр. 83). Мотив обреченности гения приобретает, однако, неизмеримо более глубокое и принципиальное разрешение, когда Г. Гейне расширяет рамки своего «окружения» и переходит к окружающему его общественно-политическому миру. Можно не сомневаться в том, что наибольшее влияние на творчество Г. Гейне последнего периода оказали тяжелые и мучительные потрясения и разочарования политического порядка.

Г. Гейне, еще в прежние годы скептически относившийся к «дежному рыцарству», теперь проникается все большим презрением к «выскачкам новой денежной аристократии» (см. его письмо к Фердинанду Лассалу от 10 февраля 1846 г. — XII т. Собр. соч., стр. 86). Поэта все больше отталкивает своим корыстолюбием «грубое эгоистическое торгашество — я чуть не сказал, — уточняет он, — буржуазия» (там же). Буржуазная революция 1848 г. во Франции,

как убеждается в этом Г. Гейне, отнюдь не приносит должного облегчения народным массам. Образовавшееся временное правительство оказывается политически никчемным и чуждым народу, а в июне 1848 г. идет даже на массовую резню. «Никогда еще, — пишет Г. Гейне о «революционном» правительстве Франции, — народ, этот большой сирота-дитя, не вытаскивал из горшка революции дряни хуже той, которую оказались люди, составлявшие временное правительство».

На родине Г. Гейне, в Германии, революция 1848 г. также терпит тяжкое поражение. Вековечный враг поэта, немецкое дворянство, не без попустительства буржуазных краснобаев из франкфуртского парламента, празднует сокрушительную победу. Передавая прогрессивно-демократическая Германия разгромлена торжествующей реакцией. И безнадежно больной Г. Гейне, лежа в своей «матрачной могиле», вынужден с болью воспринимать вести, приходящие из Германии: «Новости, которые приходят с родины, усугубляют мои мучения. Сейчас, когда я должен был бы с наибольшей активностью выполнять дело в своей жизни, я приговорен к неподвижности, я даже не могу ответить на крик отчаяния друзей, которые просят у меня обычной поддержки. В Германии взяли верх наши враги. Так называемая «национальная партия», тевтоманы, изощряются в заносчивости» (письмо от 29 августа 1848 г. Ж. Дебоше—XII т. Собр. соч., стр. 146). Все эти невзгоды и разочарования не могут не настроить умирающего поэта на грустный, пессимистический лад, не могут не возродить в его творчестве старой темы: гибнут лучшие, и торжествуют злые.

И все же ни тяжелые политические переживания, усугубленные безнадежной болезнью, ни семейные и материальные осложнения не в состоянии сломить духа умирающего поэта. Несмотря на тяжелые потрясения, переживания и разочарования, Г. Гейне остается верен своим революционным идеалам, столь пламенно воспетым в «Германии» и «Современных стихотворениях». Правда, в некоторых своих предсмертных высказываниях (см. напр. «Послесловие к «Романцero») поэт заговаривает о возвращении в лоно религии. Но, не говоря уж о том, что в творчестве Г. Гейне эти настроения не находят своего художественного выражения, самый характер этих одиночных высказываний и та ироническая усмешка, которой они зачастую сопровождаются, свидетельствуют, насколько органически чужда была поэту эллину «мировая с богом».

Несмотря ни на что, Г. Гейне до конца своей жизни остается враждебен феодализму, враждебен политической и духовной реакции, дворянско-клерикальной идеологии, религии отречения.

Недремлющее чувство ненависти к дворянству порождает в «Романцero» и в «Стихотворениях 1853 и 1854 годов» целый ряд исключительных по своему блеску и политической заостренности стихотворений. Со всей беспощадностью поэт-революционер обрушивается на террор торжествующих победителей (см. напр. «В октябре 1849»). Остро и зло Г. Гейне высмеивает черно-красно-золотое

знамя «немечников» — националистов. Сатирически изничтожаются либеральные болтуны, снова усыпившие бедного «Михеля». Даже в балладах не упускается возможность политически кольнуть дворянство. В таком, казалось бы, «легкомысленном» стихотворении, как «Рампсенит», Г. Гейне не преминул иронически пройтись по адресу монархов и правителей, на престоле которых смог с успехом восседать обыкновенный вор. В «Шельм-фон-Бергене» поэт, игриво рассказывая о курьезном случае на балу, сводит этот случай к тому, что родоначальником и «благородным» предком рыцарского рода Шельм-фон-Бергенов был обыкновенный палач. В «Бимини» мирный и плавный строй поэмы неожиданно нарушается резким политическим выпадом против усмирителя итальянской революции — вождя «солдатчины» Радецкого.

«Голос ненависти» к дворянству — как определяет свое чувство в знаменитом предисловии к «Лютеции» сам же Г. Гейне за год до своей смерти — настолько силен в поэте, что, несмотря на весь свой страх перед рисуемой его воображению уравниловкой при коммунизме, он готов призвать коммунизм, лишь бы раздавить дворянскую партию, — «партию, страшнейший противник которой — коммунизм и которая поэтому есть также н а ш о б щ и й в р а г».

Хотя контуры будущего еще представляются Г. Гейне во многом смутными и неясными, хотя настоящее принесло победу дворянской реакции, поражение лишь печалит, но отнюдь не страшит поэта, ибо он верит в то, что это торжество — временное, что так или иначе, но старый мир обречен на гибель. Поэтому за год до своей смерти умирающий Г. Гейне может спокойно бросить в лицо ликующей в его отечестве дворянской контрреволюции: «Войте на здоровье! Настанет день, и роковая пята раздавит вас. С этой уверенностью я могу спокойно оставить здешний мир» (Предисловие к «Лютеции»). Умирающий поэт мог тем более «спокойно оставить здешний мир», что он знал, как много им было сделано в великом деле освобождения Европы от «железных уз привилегированного сословия — аристократии». Это сознание величия пройденного им пути помогает Г. Гейне переносить и временное поражение него общественных идеалов и тяжкие личные страдания. «Чарующая мысль о прекрасно прожитой жизни, — пишет Г. Гейне Юлиусу Кампе 1 сентября 1846 г., — наполняет мою душу даже в эту горестную минуту и будет, надеюсь, провожать меня в последний час вплоть до белой бездны» (XII т. Собр. соч., стр. 103).

«Чарующей мысли о прекрасно прожитой жизни» Г. Гейне обязан своей книгой «Романцero», которую сам поэт справедливо назвал «з о л о т о й книгой побежденного». Не только блестящая сатира в ряде стихотворений «Романцero», но и чудесные образы народных поэтов Иегуды бен-Галеви и Габироля, до конца своей жизни оставшихся верными своему народу в наиболее мрачные для него годы, несомненно вдохновлены этой благородной мыслью о «прекрасно прожитой жизни». Ей же обязаны своим существованием блестящие «земных радостей», встречающиеся даже среди многих скорбных

«Стихотворений 1853 и 1854 годов», набросанных в бессонные, полные физических мук, ночи «поэта мертвовой рукой». «Чарующая мысль о прекрасно прожитой жизни» породила и ту чудесную ритмическую слаженность и удивительную умиротворенность, которые так характерны для «Бимини» и многих предсмертных поэм, баллад и стихотворений Г. Гейне.

РОМАНЦЕРО

«Романцero» было впервые опубликовано в октябре 1851 г. в Гамбурге, в издании «Гофман и Кампе» («Romanzergo» von Heinrich Heine, Hamburg, Hoffmann u. Campe). Сборник состоял из 314 страниц текста. Основная масса стихов, как писал Г. Гейне в «Послесловии к «Романцero», была написана в период 1848—1851 гг.

Первое упоминание о намерении составить новый сборник стихотворений встречается в письме Г. Гейне от 28 сентября 1850 г., адресованном его издателю Юлиусу Кампе. Сопоставляя задуманную книгу с «Книгой песен» и «Новыми стихотворениями», Г. Гейне пишет о «Романцero»: «Третий столп поэтической моей славы, может быть, тоже будет из доброго мрамора, и даже из еще лучшего мрамора» (XII т. Собр. соч., стр. 179). Состояние здоровья поэта было, однако, таково, что уже через два месяца он вынужден был поставить под сомнение возможность создания сборника, опасаясь, что неостанет сил для правки стихов, часть которых была лишь бегло набросана карандашом. «Проект издания новой книги стихов, — писал Г. Гейне Генриху Лаубе 30 ноября 1850 г., — опять отодвигается, так как болезнь моя не позволяет мне переписать беглые карандашные наброски и подготовить их для печати» (XII т. Собр. соч., стр. 188). Но в том же письме Г. Гейне в противовес поэтическим мотивам приводит материальные соображения, голос которых может оказаться сильнее: «Если нужда усилится, мне, конечно, придется выступить с этой книгой» (там же, стр. 188). Отрицательное влияние на подготовку сборника оказала та поспешность, с которой он — по требованию издателя Юлиуса Кампе — сдавался в печать. Ссылаясь на требование Юлиуса Кампе «скорейшей отправки рукописи», Г. Гейне в письме от 28 августа 1851 г. к своему не в меру меркантильному издателю жалуется на то, что ряд стихотворений он посылает, даже не сохранив у себя черновиков и копий, а некоторые — не успев отшлифовать: «Стихотворение, под названием «Диспут», я написал после вашего отъезда в великой спешке; предыдущее (речь идет о «Иегуде бен-Галеви». — Я. М.) — в сущности лишь отрывок: у меня нехватало досуга для отделки и полировки, — но я понял, что, продолжая мешкать, я могу повредить вашим интересам. Широкий читатель не заметит недостатков, которые появляются в книге из-за такой спешки, но тем не менее они существуют и терзают по временам совесть автора» (XII т. Собр. соч., стр. 218).

Большое внимание при издании «Романцero» Г. Гейне обращал

на порядок расположения стихотворений. В письме к Юлиусу Кампе от 22 марта 1852 г. поэт писал о «Романцero»: «Оно бесконечно потеряло бы, если бы я не уделил много времени и размышлений распорядку» (XII т. Собр. соч., стр. 266).

Название сборника — «Романцero» — Г. Гейне определял как «отличную находку» («красиво звучит и много обещает» — XII т. Собр. соч., стр. 323). Возникло это название, рассказывает поэт в своем «Послесловии к «Романцero», «поскольку тон романа преобладает в стихах, которые здесь собраны».

Несмотря на отдельные шероховатости, «Романцero» оказался венцом поэтической славы Г. Гейне и принят был широкой читательской публикой с исключительным восторгом. Уже в течение ближайших двух месяцев после выхода книги потребовались два переиздания ее, а в январе 1852 г. было отпечатано четвертое стереотипное издание, причем, как сам Ю. Кампе признавался Г. Гейне, при каждом издании печаталось не меньше пяти-шести тысяч экземпляров (см. письмо Г. Гейне к Альфреду Мейснеру от 1 марта 1852 г. — XII т. Собр. соч., стр. 259).

15 октября 1851 г. в «Revue des deux Mondes» были напечатаны французские переводы ряда стихотворений, вошедших в «Романцero»: «Рампсенит», «Белый слон», «Поле битвы при Гастингсе», «Жофруа Рудель и Мелисанда Триполис», «Карл I», «Фицлигуцли».

В Австрии распространение «Романцero» было запрещено, видимо, — как сообщал поэту из Вены его брат, — из-за наличия в сборнике стихотворения «Мария-Антуанетта». В письме к своему издателю Г. Гейне объясняет это запрещение общим спадом революционного движения и наступлением реакции: «Для австрийцев, право, не новость, — пишет Г. Гейне 8 декабря 1851 г., — что Мария-Антуанетта была обезглавлена, и они давно примирились с этим историческим фактом. Если вам, дорогой Кампе, за последние четыре года не запретили в Австрии ни одного издания, то это вполне естественно: ведь это были именно тучные годы революционного движения, и только теперь начинаются тощие» (XII т. Собр. соч., стр. 246).

КНИГА ПЕРВАЯ. «ИСТОРИИ»

РАМПСЕНИТ

Впервые опубликовано в 1847 г. в издававшихся в Вене «Sonntagsblätter» № 47. Об источнике этого стихотворения — см. напечатанные в данном томе «Заметки» («I. Рампсенит»), стр. 159.

БЕЛЫЙ СЛОН

«Шуточное стихотворение, посвященное известной при здешнем дворе даме, именно — графине Калерги», — так объясняет происхо-

ждение этого весьма своеобразного стихотворения Г. Гейне в письме к Юлиусу Кампе от 15 октября 1851 г. В действительности в рукописи стихотворение вначале было озаглавлено: «Прекрасная Калерги»; точно так же вместо имени «Бианка» стояло вначале «Калерги» и говорилось о «глазах Калерги». Историю возникновения этого стихотворения передает в своих воспоминаниях приятельница Г. Гейне и графини Калерги — Каролина Жобер («Souvenirs de Madame C. Jauberts», p. 304). Графиня Калерги, урожденная графиня Нессельроде, славившаяся своей исключительной красотой, воспетой в числе других и Т. Готье, пожелала познакомиться с Г. Гейне. Для того чтобы заинтересовать поэта, уже лежавшего в ту пору в «матрачной могиле», Жобер прочла ему стихотворение Т. Готье «Symphonie en blanc majeur», в котором в самых восторженных тонах поэтизировалась красота графини и в частности ослепительная белизна ее кожи. Когда на другой день после визита графини Калерги Жобер пришла к Г. Гейне осведомиться о его впечатлении, поэт воскликнул: «Это — не женщина, это — монумент, это — храм бога Амура!» Тут же Г. Гейне процитировал посвященные красоте графини Калерги строфы из написанного им за ночь стихотворения «Белый слон».

4. *Твердойней Индры*. Индра — индусский бог неба и грозы, ворец и охранитель жизни. Об Индре см. также стихотворение Г. Гейне «Фридерика».

6. *Великанша Бима* (Bumha) в «Рамаяне» не упоминается. Оскар Вальцель по этому поводу заключает, что Г. Гейне, слушавший в студенческие годы в Берлине лекции Боппа о санскритской литературе, по забывчивости приводит здесь не к месту Бима (Bhima), героя знаменитого индусского эпоса «Магабхарата».

7. *О, белизна эта — implacable!* — пародия на Готье, который в своем стихотворении, посвященном графине Калерги, назвал белизну ее кожи implacable.

8. *Оссиан* — легендарный кельтский бард III века, которому ошибочно приписывались изданные в 1760 г. Макферсоном, как впоследствии выяснилось, поддельные «Песни Оссиана». Бертер зачитывался «Песнями Оссиана».

ШЕЛЬМ-ФОН-БЕРГЕН

Впервые опубликовано 31 мая 1846 г. в «Kölnische Zeitung» под заголовком: «Herr Schelm von Bergen». Написано, видимо, в 1845 г. Шельм-фон-Бергены — старинный род, упоминающийся еще в 1194 г. Мужское потомство рода вымерло лишь в 1844 г. Родовой замок Берген расположен вблизи Франкфурта на Майне. Перенесение места действия легенды из Франкфурта на Майне в Дюссельдорф произведено самим Г. Гейне. Поэт впервые, видимо, познакомился с легендой в обработке своего друга Вильгельма Смельса (псевдоним: Теобальд) в «Rheinisch-westfälischen Musenalmanach

auf das Jahr 1821». В своей рецензии на этот сборник Г. Гейне еще в ту пору весьма одобрительно отозвался о легенде. В 1837 г. легенду поэтически обработал друг Г. Гейне Зимрок («Der Schelm von Bergen» в «Rheinsagen»).

10. *Дрик с Марцебиллой* — карнавальные маски.

ВАЛЬКИРИИ

Впервые опубликовано в 1847 г. 19 сентября в «Sonntagsblätter» № 38, под заголовком «Gesang der Walküren» («Пение валькирий»). Стихотворение заканчивалось тогда 4-й строфой.

ПОЛЕ БИТВЫ ПРИ ГАСТИНГСЕ

Об источнике этого стихотворения см. напечатанные в данном томе «Заметки» («II. Поле битвы при Гастингсе»), стр. 162. Битва при Гастингсе (Англия) произошла в 1006 г. и закончилась решительной победой норманского герцога Вильгельма над войсками англо-саксонского короля Гарольда II. Победа Вильгельма привела к покорению Англии норманнами.

12. *Вальдгем* — город в Англии, где был погребен Гарольд II.

КАРЛ I

Опубликовано в 1847 г. в Н. Puttmanns «Album Originalpoesien», S. 143, под заголовком «Das Wiegenlied» («Колыбельная песнь»). В феврале 1846 г. стихотворение в числе других было передано посетившему Г. Гейне Анастасиусу Грюну для включения в альманах Путтмана, вышедший, однако, лишь через год. Во французском издании «Романцере» стихотворение вышло со следующим примечанием Г. Гейне: «Няни у меня на родине, чтобы усыпить своих детей, поют песенку: «Что шелестит в соломе? — Кошечка мертва — мышенята веселы!» О отношении Г. Гейне к казни Карла I см. стихотворение «1649—1793—???» и «Салон 4 ч.» (глава о Делароше).

16. *Карл I* (1600—1649) — король Англии, во время английской революции был казнен 30 января 1649 г. в Уайтхолле.

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА

Образ безголовых привидений, разгуливающих в замке Тюильри, навеян легендой о герцогине Якоб фон-Боден, убитой в 1596 г. и после смерти, как гласит легенда, появившейся без головы в дюссельдорфском дворце. Еще в 1826 г. в «Книге Легран» (X глава) Г. Гейне использовал этот образ, рассказывая про «старый, за-

брошенный замок» в Дюссельдорфе, «где живут духи и где по ночам бродит дама в черном шелковом платье, без головы, с длинным шуршащим шлейфом» (IV т. Собр. соч., стр. 231). Возвращаясь к этой же теме в 1833 г. в «Романтической школе» (III ч., V гл.), Г. Гейне по-иному отнесся к дюссельдорфской легенде о «женщине без головы» и шелесте «ее шелкового платья». «Теперь, — писал Г. Гейне в 1833 г., — я уже не верю в людей без головы, и прежние привидения не имеют уже влияния на мою душу. Дом, в котором я в настоящую минуту сижу и читаю, стоит на Монмартрском бульваре (в Париже. — Я. М.), а здесь разбиваются и пенятся самые бурные современные волны, здесь раздаются самые громкие голоса нового времени. «Голоса нового времени» отразились и в весьма своеобразном изображении в «Марии-Антуанетте» безголовых сил «старого режима», тщетно пытающихся воскресить былое.

18. *Пэвиллон Флоры*. Флора — у древних римлян богиня весны и цветов.

— *Марии-Терезии дочь*. — Мария-Терезия (1717—1780) — мать Марии-Антуанетты, австрийская императрица.

ПОМА́РЕ

Впервые опубликовано в 1847 г. в Puttmanns «Album Original-poes. en», S. 137, под заглавием: «I. Pomare», «II. Dieselbe», «III. Eine Andre» («I. Помаре», «II. Та же», «III. Другая»). Первоначально в рукописи II часть носила заголовок: «Herodias II» («Иродиада II»), а III часть — «Kurtisane» («Куртизанка»). Возникло стихотворение, видимо, в 1846 г.

20. *Помаре* — прозвище знаменитой красавицы, блиставшей в те годы в увеселительном парижском заведении Jardin Mabille (Сад Мабиль). Рано умерла от туберкулеза.

— *Не про ту — не с Отаити*. Речь идет о другой Помаре, имя которой было использовано как прозвище парижской танцовщицы, о Помаре-королеве, Помаре-Вагине I (1827—1877) — королеве Отаити (Таити), владения которой в результате длительной борьбы между французскими и английскими миссионерами подпали под протекторат Франции.

21. *Плясать перед Иродом...* По Евангелию, Иродиада плясала перед Иродом, добившись в награду головы Иоанна Крестителя.

— *Ступишь прямо в дверь больницы*. Этот же мотив встречается у Г. Гейне еще в 1837 г., в его «Письмах о французской сцене»: «Зрители смеются, глядя на эти сцены, но я, когда подумаю в душе, что эти комедии в действительности оканчиваются в притонах разврата, в госпиталях св. Лазаря, на анатомических столах, где *сагаби́н* (прозвище студентов-медиков. — Я. М.) развивает свои познания, присутствуя при вскрытии своей прежней любовницы» и т. д. («Письмо второе»).

22. *Rose-Pompon* — известная парижская гризетка, соперница Помаре.

БОГ АПОЛЛОН

23. *С ним девять эсеници* — девять муз, богинь искусства и науки, сопровождавших, по греческой мифологии, Аполлона.

24. *Монпарнас* — парижский квартал, центр литературной богемы. Парнас же, в греческой мифологии, был резиденцией муз.

27. *Пикельгеринга играет...* Пикельгеринг — буквально, копченая сельдь; название комического персонажа, весьма популярного на подмостках немецкой народной сцены.

МАЛЕНЬКИЙ НАРОДЕЦ

Впервые опубликовано в 1846 г. в «Morgenblatt» № 212, под заглавием «Brautfahrt» («Поездка к невесте»).

ДВА РЫЦАРЯ

Первоначально было озаглавлено: «Zwei Polen (Aus dem Weichselöbpfingen)» — «Два поляка (вышедших из моды на Висле)». Самая перемена заглавия свидетельствует о том, что стихотворение отнюдь не направлено против поляков вообще, а бьет лишь тех польских шляхтичей-эмигрантов, которые своим поведением только дискредитировали польскую эмиграцию. Вообще же Г. Гейне весьма сочувственно относился к освободительному движению в Польше. Слова, полные сочувствия к польским народным массам, звучат уже в очерке «О Польше», написанном еще в 1822 г. В книге «Людвиг Берне» Г. Гейне писал: «Польша не погибла... Она будет вечно жить на самых славных страницах истории... Этому народу суждены еще, быть может, подвиги, которые гений человечества ценит выше выигранных битв и рыцарского брицания мечей» (Книга третья).

28. *Сволочинский и Помойский*. Первоначально оба героя именовались «Eselinski und Schafskopfski» («Ослинский и Овчинский»).

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

15 февраля 1851 г. это стихотворение вместе с двумя другими («Старая песня» и «Ночная поездка») было послано поэтом музыкальному издателю Михаилу Шлоссу в связи с объявленным последним конкурсом сочинителей песен (письмо Г. Гейне к М. Шлоссу — см. XII т. Собр. соч., стр. 202). Стихотворение представляет собой пародию на библейский рассказ о золотом тельце. Звучат в нем, разумеется, мотивы, навеянные современной поэту действительностью и господством в ней «золотого тельца».

ЦАРЬ ДАВИД

Как и предыдущее стихотворение, — пародия на библейский сюжет.

КОРОЛЬ РИЧАРД

Источником этого стихотворения, как и «Поля битвы при Гастингсе», послужила работа О. Тьерри «Histoire de la conquête de l'Angleterre». (История завоевания Англии.)

32. В австрийскую ты заточен был тюрьму... Ричард Львиное Сердце, возвращаясь в виде переодетого пилигрима из крестового похода в Палестину, был в 1192 г. вблизи Вены узнан и герцогом Леопольдом VI Австрийским, личным врагом Ричарда, заключен в замок Дюрренштейн.

АЗРА

Впервые опубликовано в 1846 г. 2 сентября в «Morgenblatt» № 210. Источником послужила книга Стендаля «О любви» (1822). Корни сюжета в известной мере восходят к арабскому поэту Ибн-Аби-Адглату (ум. в 1375 г.).

ХРИСТОВЫ НЕВЕСТЫ

Уланд, поэт и современник Г. Гейне, приводит народную песню XVI в. о мертвецах, вставших из гроба и поющих в церкви («Totengesang», «Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder» № 357). В народной песне, однако, мертвецы, как правильно замечает Эльстер в своих комментариях, поют р е л и г и о з н ы е гимны, у Г. Гейне же они занимаются распеванием явно «к о щ у н с т в е н н ы х» песенок.

33. Урсулинки — монахини католического ордена, основанного Урсулой.

— Кесарю мы отдавали то, чем бог владеть был вправе. Ср. евангельское «отдавайте кесарево кесарю, а божье — богу».

ПФАЛЬЦГРАФИНЯ ЮТТА

Впервые опубликовано вместе с «Азра» в 1846 г. 2 сентября в «Morgenblatt» № 210. Родственный мотив потопления девяти влюбленных поклонников имеется в народной песне «Albertus Magnus» (в известном сборнике «Des Knaben Wunderhorn» Арнима и Брентано, вышедшим в 1805 г.). Трупы, плывущие по Рейну вслед их убийце, фигурируют в стихотворении М. Гартмана «Die Brautfahrt» («Kelch und Schwert», 1845).

МАВРИТАНСКИЙ КОРОЛЬ

Первоначальное заглавие: «Boabdil» («Боабдиль»). Источником послужили книга Конде об истории мавров в Испании—«Geschichte der Maurenschaft in Spanien» (вышла в Германии в 1824—1825) и книга Вашингтона Ирвинга «Conquest of Granada» (1829). В книге Конде изгнание мавританского короля описывается так: «Когда несчастный Абу-Абдалла-эль-Шакир (последний король гренадский), после передачи города в 1492 г. в руки короля Фердинанда Кастильского, прибыл в Падую, он обернулся назад, посмотрел в последний раз на потерянный город и, горько плача, будто бы сказал: «Алауакбар и его мать мне говорили: ты прав, если плачешь, подобно женщине, так как ты не защищал этот город, как подобает мужчине». Визирь короля (у Г. Гейне — любимейшая из наложниц короля. — Я. М.) Юзеф-Абек-Томикса, однако, возразил: «Заметь себе, владетель, что великие несчастья делают людей так же знаменитыми, как и счастье, если только они сумеют вести себя мудро и с твердостью». На аналогичную тему см. новеллу Шатобриана «Les aventures du dernier Abencérage».

36. *Альгамбра* — дворец мавританских королей в Гренаде, один из величайших памятников арабской архитектуры.

37. *«Вздох последний Боабдила»* — так зовется до сих пор та гора... Гора, с вершины которой мавританский король в последний раз взглянул на Гренаду, по сию пору именуется «El ultimo sospiro de moro» («Последний вздох мавра»).

ЖОФРУА РУДЕЛЬ И МЕЛИСАНДА ТРИПОЛИС

Впервые опубликовано в 1846 г. 2 сентября в «Morgenblatt» № 210. История любви Жофруа и Мелисанды воспета была еще в 1814 г. Уландом в его стихотворении «Rudello». К этой же теме Г. Гейне возвращается в своем «Иегуде бен-Галеви».

37. *Жофруа Рудель* — известный трубадур XII в.

— *Бле* — город в Жиронде (Франция).

ПОЭТ ФЕРДАУСИ

40. *Фердауси* (960—1030) — величайший из иранских поэтов, автор бессмертной поэмы «Шах-Наме» («Книга царей»), вобравшей в себя лучшие из народных иранских сказаний о подвигах великих и могучих людей Ирана. По преданию, Фердауси, получив за пому от шаха вместо золотых томанов серебряные, написал против шаха злую сатиру, за что попал в немилость.

— *Томан* — иранская монета.

— *Фарсистан* — древний Иран.

43. *Анвари* — придворный поэт шаха Магомета (ум. в 1039).

43. *Тус* — родной город *Фердѳуси* (родившегося вблизи от Туса) и место его смерти.

45. «*Дя-иль-ля! Иль-ѳлла!*» — Нет бога, кроме бога!

НОЧНАЯ ПОВЕЗКА

Написано в начале февраля 1851 г.; 15 февраля 1851 г. послано издателю Михаилу Шлоссу (см. выше прим. к «Золотому тельцу»). В связи с указанием Шлосса на то, что стихотворение не вполне понятно, Г. Гейне 12 марта 1851 г. ответил пространственным письмом, в котором отмечает, что «именно таинственное определяет характер и главную прелесть этого произведения».

47. *Шаддай! Адонай!* — всемогущий бог! — древнееврейские названия бога при каббалистических заклинаниях.

ФИЦЛИПУЦЛИ

Завоеванием Мексики Г. Гейне интересовался издавна и в связи с этим на протяжении ряда лет ознакомился с целым рядом соответствующих книг. Несомненное влияние на «Фицлипуцли» оказало отращение умиравшего поэта к европейским порядкам. В письме от 5 ноября 1851 г. Г. Гейне сообщает Георгу Веерту: «Больше всего я читаю теперь описания путешествий, и в течение двух месяцев я не вылезал из Сенегалии и Гвинеи. Отращение, которое внушают мне белые, несомненно, виною тому, что я погружаюсь в этот черный мир, очень забавный. Эти черные негритянские короли доставляют мне больше удовольствия, чем наши туземные отцы народа, хотя они так же мало знают о правах человека и считают рабство неким природным состоянием» (XII т. Собр. соч., стр. 239). Конец «Фицлипуцли», призывающий к «мести», представляет собой своеобразное преломление настроений поэта.

47. *Фицлипуцли* — бог войны у древних мексиканцев.

— *Прелюдия*. Первоначально: «*Amerika, Präludium zum Vitzliputzli*» («Америка, Прелюдия к Фицлипуцли»).

48. *Риджент-стрит* — улица в Лондоне.

— *Памятник Эразму*. Эразм Роттердамский (1466—1536) — один из виднейших представителей немецкого гуманизма. В Роттердаме, месте рождения Эразма, ему поставлен памятник.

49. *Кифгейзер* — замок в горах Тюрингии, где, по легенде, уже сотни лет спит в подземелье император Фридрих Барбаросса — грядущий «освободитель немецкого народа» (см. «Германию» Г. Гейне).

— *...в гроте у Венеры...* По старинному немецкому преданию, в гроте у Венеры провел, предаваясь любовным утехам, семь лет Тангейзер (см. «Тангейзер» Г. Гейне),

50. *Кортес Фернанд (1485—1547)* — завоеватель Мексики.

51. *Монтецума* — последний властитель Мексики, умер в 1520 г.

53. *Оллеа-потрида* — популярное испанское кушанье.

57. *Как их пишет на картинах англичанин Генри Мартин*. Ошибка Г. Гейне: имя английского художника, о котором здесь идет речь, — Джон Мартин (1789—1854).

58. *Базельская «Пляска смерти»* — известная фреска в базельском соборе (Швейцария) в память ранее свирепствовавшей чумы. В настоящее время стена, на которой была нарисована фреска, снесена.

— *Брюссельский Меннкен-Писс* — статуя над фонтаном в Брюсселе (Бельгия), изображающая мальчика, мочащегося в бассейн. Мальчик считался покровителем Брюсселя.

66. *Велиал, Астарот, Вельзевул* — различные наименования дьявола.

— *Лилита* — по древнеиудейской легенде, возлюбленная Адама, до того как он узнал Еву; дьяволица, губящая мужчин.

КНИГА ВТОРАЯ. «ЛАМЕНТАЦИИ»

ЛЕСНОЕ УЕДИНЕНИЕ

Первоначальное заглавие в рукописи: «Prolog» («Пролог»), затем: «Der Kranz» («Венок»); во французском издании: «Élégie romantique» («Романтическая элегия»).

Слово «Waldeinsamkeit» («Лесное уединение») Г. Гейне заимствовал у видного немецкого писателя-романтика Тика (см. его «Белокурый Экберт», 1797).

72. *Стикс* — в греческой мифологии река подземного царства, семь раз опоясывающая ад; через нее Харон перевозит души умерших.

ИСПАНСКИЕ АТРИДЫ

Первоначальный вариант заглавия: «Familiengeschichte» («Семейная история»). Ссылаясь на этот вариант заголовка, а также на стихотворные варианты (см. «Варианты», 325 стр.), Вальцель справедливо устанавливает параллель между тяжелыми семейными переживаниями Г. Гейне и кровавой «семейной историей», описанной поэтом в балладе.

Наряду с другими материалами Г. Гейне, видимо, использовал при написании баллады Проспера Мериمة «Histoire de Don Pedro I, Roi de Castille» (Париж 1848).

72. *В лето тысяча и триста восемьдесят три*. Дата представлена ошибочно: дон Энрико II в эту пору уже не правил Кастилией. На престоле с 1379 г. сидел его сын Жуан I.

72. *Стрелля Локусты.* Локуста — знаменитая древнеримская отравительница.

73. ...*Дней кровавых дна Педро...* Педро Жестокий (1334—1369), король Кастилии, женился в 1353 г. на Бланш Бурбонской, не разойдясь, однако, с доньей Марией де-Падильей, с которой король был ранее близок. В 1369 г. Энрико Транстамаре, один из внебрачных сыновей Педро, выступив в союзе с другими испанскими грандами против своего отца, убил его в сражении и занял престол Кастилии.

80. *Бой при Нарвасе...* Ошибка: бой был при Монтиэле.

ЭКС-ЖИВОЙ

Посвящено видному представителю политической поэзии в Германии Георгу Гервегу (1817—1875), автору «Стихов живого» (1841—1844) Г. Гейне, назвавший Гервега за его революционные стихи «железным жаворонком», жестоко осмеял Гервега, когда узнал о его попытке сагитировать прусского короля Фридриха-Вильгельма IV (см. стихотворение Г. Гейне «Аудиенция»). С еще более жестокой насмешкой Г. Гейне отнесся к Гервегу в связи с нелепым восстанием, организованным Гервегом в революцию 1848 г. (см. стихотворение Г. Гейне «Симплициссимус I»).

81. *О Брут, где Кассий...* Брут и Кассий — участники заговора против Цезаря с целью спасения республики в древнем Риме. Под Брутом Г. Гейне подразумевает Г. Гервега, под Кассием — поэта Франца Дингельштедта, выпустившего в 1840 г. сборник радикальных политических стихотворений «Песни космополитического сторожа», а в 1843 г. неожиданно ставшего гофратом и чтецом вюртембергского короля.

— ...*отводивший душу с тобой в вечерних прогулках над Сеной.* Гервег и Дингельштедт неоднократно встречались зимой 1841/42 г. в Париже, куда оба они к этому времени приехали. Плодом этих встреч является во II ч. «Стихов живого» Гервега дуэт: «Wohlgelboren und Hochwohlgeboren. Von zwei deutschen Dichtern in Paris».

82. *Стихи Мацерата.* Христиан-Иозеф Мацерат (1815—1876) — бездарный поэт и крупный прусский чиновник.

БЫВШИЙ СТРАЖ НОЧЕЙ

Написано в 1851 г. после нового служебного «возвышения» Дингельштедта (см. выше примечание к «Экс-живому»), получившего назначение в мюнхенский театр.

83. *«Ах, голубка, шла бы в келью!»* См. «Гамлет» Шекспира, акт 3, сцена 1.

— *Масман* — один из вождей националистического движения в Германии, преподаватель языковедения и гимнастики. Постоян-

ная мишень для язвительных острот Г. Гейне (см. «Атта Троль», «Послесловие к Романцерио» и др.). В 1842 г. наряду с Шеллингом и Корнелиусом был приглашен в Берлин прусским королем Фридрихом-Вильгельмом IV, стягивавшим в столицу Пруссии всякого рода реакционные силы из Мюнхена (Бавария) и других городов.

83. *Шеллинг* (1775—1854) — видный немецкий философ, вначале стоявший на прогрессивных политических позициях, а затем перешедший на сторону реакции.

— ...*творец Валгаллы* — король Людовик I Баварский, в революцию 1848 г. был свергнут с престола. Мракобес, самодур и эстетствующий фигляр, Людовик Баварский в 1841 г. воздвиг возле Регенсбурга (Бавария) своеобразную Валгаллу — хранилище 163 бюстов немецких национальных героев (по выбору Людовика Баварского).

84. *Корнелиус* — глава реакционной немецкой школы живописи.

— *Геррес Иосиф* — немецкий реакционнейший католический писатель, умер 29 января 1848 г., тотчас после разгрома клерикальной партии. После смерти Иосифа Герреса реакционное дело его продолжал его сын, католический поэт Гвидо Геррес (1805—1852).

— *Доллингерий* — мюнхенский поп, поднявший, в связи с антирелигиозными выпадами Г. Гейне в его «Путевых картинах», бешеную кампанию против поэта (в 1828 г. в мюнхенской газете «Еос» и др.).

85. *Гуттен Ульрих* (1488—1523) — один из вождей немецкого гуманизма; принял участие в составлении «Писем темных людей» (1515—1517), нанесших сильнейший удар мракобесам.

— *Эразм Роттердамский*. См. выше прим. к «Фицлипуцли».

— *Зикинген* — гуманист, единомышленник Ульриха Гуттена и Эразма Роттердамского.

— *Виттенберг* — прусский город. В XVI в. — центр деятельности Лютера, осуществившего религиозную реформу в Германии.

ПЛАТЕНИДЫ

Написано, видимо, в 1847 г. Направлено против духовных последователей немецкого писателя Августа Платена-Галлермунде (1796—1835), с которым, несмотря на относительно прогрессивный характер его творчества, у Г. Гейне возникла чрезвычайно резкая литературная борьба. В этой борьбе как Гейне, так и Платен были зачастую явно несправедливы друг к другу (см. «Эдип» Платена и «Лукские воды» Г. Гейне).

ЮНЫМ

Впервые опубликовано в 1847 г. в Н. Puttmanns «Album Originalproesen», S. 142, под заглавием «Zur Doktrin» («К доктрине»).

По предположению Эльстера и Вальцеля, Г. Гейне, возможно, имел в виду Фердинанда Лассалья, о котором поэт писал Фарнгагену-фон-Энзе в письме от 3 января 1846 г.: «Лассаль — истинный сын нового времени, который знает ничего не хочет об отречении и покорности» (XII т. Собр. соч., стр. 82).

88. *Александр Македонский* (356—323 до н. э.) — один из величайших полководцев древности, в битве при городе Арбелле разгромил персидского царя Дария.

НЕВЕРУЮЩИЙ

89. *Святой Фома* — он же «Фома Неверующий», по Евангелию, один из учеников Иисуса, не веривший в воскресение Христа и пожелавший пальцами осязать раны на теле своего учителя.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Первоначально в рукописи озаглавлено: «Warnung» («Предостережение»).

ТЕПЕРЬ КУДА?

Первоначально озаглавлено: «Fragment eines Briefes» («Отрывок из письма»). По настроению напоминает письмо Г. Гейне с острова Гельголанда от 1 июля 1830 г., включенное поэтом в его книгу «Людвиг Берне» (II часть).

СТАРАЯ ПЕСНЯ

Впервые без заглавия и в иной редакции напечатано 23 июля 1824 г. в «Agrirrina» № 89. 15 февраля 1851 г. послано на конкурс Шлоссу (см. прим. к «Золотому тельцу»). В «Романцero» включено после новых изменений.

СТАРАЯ РОЗА

«Посвящено» бывшему объекту пламенной любви поэта — его кухне Терезе (ср. в «Книге песен» цикл «Опять на родине»), после новой встречи с ней в 1843 г.

АУТО-ДА-ФЕ

93. *Ауто-да-фе* — сожжение на костре во времена инквизиции.

ЛАЗАРЬ

1. Ход жизни

Первоначальный заголовок: «Bittre Klage» («Горькая жалоба»).

2. О г л я д к а

Первоначальный заголовок: «Denkblatt» («Памятный лист»).

94. *Как Геллерт, я ездил в седле дорогом.* Поэт Геллерт, получив в подарок от принца Генриха Прусского лошадь, ежедневно катался на ней верхом.

4. У м и р а ю щ и й

Первоначальный заголовок: «Ja! ja!» («Да! да!»).

6. В о с п о м и н а н и е

Первоначальный заголовок: «Wisetzki» («Визецкий»). О гибели мальчика Визецкого — см. «Путевые картины», II ч., VI гл. (IV т. Собр. соч., стр. 211).

7. Н е с о в е р ш е н с т в о

97. *Лукреция* — жена римского гражданина Тарквиния Коллатина. Обесчещенная Секстом, лишила себя жизни.

— *«Генриада»* — трагедия Вольтера, ставившая своим идеалом просвещенного монарха.

— *Клопштока «Мессиада»* — религиозная эпопея видного немецкого писателя Клопштока (1724—1803).

98. *Канова Антонио* (1757—1822) — знаменитый итальянский скульптор.

— *Масманский задницеплоский нос...* очередная издевка над Масманом (см. прим. к «Бышему стражу ночей»).

9. О х л а д е л ы

Первоначальный заголовок: «Gemässigte» («Умеренный»).

12. П о м и н к и

101. *Кадош* — заупокойная молитва у евреев.

— *Монмартр* — парижское кладбище, место погребения Г. Гейне.

— *Полина* — подруга Матильды, жены поэта.

15. К а н г е л а м

103. *Танатос* — бог смерти в греческой мифологии.

16. В о к т я б р е 1849

Впервые напечатано в сентябре 1850 г. в «Deutsche Monatsschrift» под заглавием: «Deutschland von Heinrich Heine. Im Oktober 1849» («Германия Генриха Гейне. В октябре 1849»). Написано в октябре 1849 г. под впечатлением разгрома революции в Германии и Венгрии. Г. Гейне прекрасно сознавал огромное значение стихотворения как открытого и прямого отклика на острейшие вопросы политической современности. 16 ноября 1849 г., посылая текст стихотво-

рения Кампе, Г. Гейне писал: «Прошу вас напечатать его там за моим именем л и с т о в к о й или в журнале, в котором оно д о й д е т до п у б л и к и. Это настоящее злободневное стихотворение, рисующее современное настроение» (XII т. Собр. соч., стр. 162). Кампе остался глух к просьбам поэта, и Г. Гейне только через год удалось опубликовать это замечательное по своему революционному духу стихотворение.

105. *Плажк Гораций* — римский поэт, в битве при Филиппах (42 г. до н. э.) спас свою жизнь бегством.

— *В честь Гёте торжества?* В 1849 г. в Германии праздновалось столетие со дня рождения Гёте (1749—1832).

— *Зонтаг* — известная немецкая певица.

— *Лист Франц* — венгерский композитор, к концу 40-х годов перешел в католичество.

— *Убит ни русским, ни кроатом не был.* Венгерская революция была подавлена русским императором Николаем I, поддержанным кроатами.

— *Он держит шпагу...* Намек на шпагу, торжественно преподнесенную Листу в 1839 г. во время его триумфального приезда в столицу Венгрии Пешт.

106. ... *бык теперь вступил с медведем в соглашение.* Под быком подразумевается реакционная Австрия, заключившая союз с медведем — Россией.

47. Д у р н ы е с н ы

Вызвано воспоминаниями о тяжелых годах, проведенных поэтом в молодости в доме его дяди, богача Саломона Гейне.

105. *Оттилия* — условное имя, которым поэт называет здесь свою кузину Терезу.

49. Д у х о в н а я

См. близкое по духу стихотворение Г. Гейне «Завещание».

20. E n f a n t p e r d u (Погибшее дитя)

Первоначальное заглавие: «Verlorene Schildwache» («Потерянный часовой»).

КНИГА ТРЕТЬЯ. «ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ»

Ср. Байрон, «Еврейские мелодии».

ЭПИГРАФ

Первоначально запись в альбом Фридерики Фридлянд, занесена в 1846 г. 13 марта в Париже.

ПРИНЦЕССА ШАВАШ

110. *Шабали* — суббота (евр.).

111. *Альмемора* — помост посреди синагоги.

112. *«Лехо дауди ликрас калле»* — «Пойди, мой друг, навстречу невесте». Стих этот поется в конце каждой строфы молитвенного гимна, который исполняют накануне субботы, именуемой в гимне божьей невестой. Ошибочно приписан здесь поэтом Иегуде бен-Галеви, тогда как автором гимна был Саломон Галеви-Альнабес (XVI в.).

113. *Аддас* — мирт.

— *Шалет* — субботнее кушанье (евр.).

ИЕГУДА БЕН-ГАЛЕВИ

Написано в 1851 г. Несмотря на спешку, на которую жалуется Г. Гейне в письме к Кампе от 28 августа 1851 г. (XII т. Собр. соч., стр. 217), — одно из прекраснейших поэтических творений Г. Гейне. Основной мотив его — отнюдь не юдаизм, а прославление поэтов, оставшихся верными своему народу. Ближайшим литературным источником поэмы явилась книга: Michael Sachs, «Die religiöse Poesie der Juden in Spanien», Berlin 1845. (Михаил Занс, «Религиозная поэзия евреев в Испании», Берлин 1845).

115. *Иегуда бен-Галеви* (XII в.) — один из величайших представителей еврейской поэзии. На склоне лет отправился в Палестину и пропал там без вести. Легенда рассказывает, будто когда Галеви целовал землю у ворот Иерусалима, какой-то сарацин наехал на него и убил.

116. *Толедо* — город в Испании, расположен на реке Тахо.

117. *Таргум Онкелос* — халдейский перевод Пятикнижия, сделанный в IV в. и ошибочно приписанный греку Онкелосу.

— *Галаха* — книга, в которой собраны правила и установления иудейской религии.

— *Пумтедита* — город в Вавилонии, в котором, так же как и в Сузе, находились после разрушения Иерусалима высшие иудейские школы.

118. *«Хозари»* — известное религиозно-философское произведение Иегуды бен-Галеви. Представляет собой апологию иудейской религии. По форме своей построено в виде диалогов между еврейским философом и князьями одного из древних племен, населявших побережье Каспийского и Черного морей, — хозаров (отсюда и название книги).

— *Агада* — повествовательная часть Талмуда.

122. ...*сирвенцы, мадригалы и терцины, канцонетты и газеллы* — различные формы в стихосложении.

123 *Руссильон, Прованс, Пуату* — южные области Франции.

123. *Лангедок* — провансальское наречие.

126. *В месяц аба, в день девятый...* Аб — пятый месяц в еврейском календаре. В девятый день этого месяца легионы Тита сожгли Иерусалимский храм (в 70 г. н. э.).

— *Жофруа Рудель*. См. прим. к стихотворению «Жофруа Рудель и Мелисанда Триполис».

127. *После битвы при Арбеллах...* См. прим. к стихотворению «Юным».

128. *Атосса* — дочь короля Кира, вышла замуж за Лже-Смердиса, мидийского мага, который выдавал себя за Смердиса, убитого брата короля.

— *Таис* — знаменитая афинская гетера (куртизанка). Во время похода на Персию следовала за Александром Великим. По преданию, Таис на одном из обедов убедила захмелевшего Александра Великого сжечь город Персеполис.

129. *А с последним Омейядом...* Речь идет об Абдеррахмане III (912 -961), который бежал в Испанию и стал там калифом кордовским.

— *Но с паденьем царства мавров...* Падение мавров произошло в 1492 г.

130. *Мендицабель* — ловкий испанский финансист XIX в., по происхождению еврей. Неоднократно бывал министром. Умер в 1853 г.

— *Баронесса Саломон* — жена миллионера Саломона Ротшильда.

— *Пелад* — сын Пелея, Ахиллес, герой «Илиады» Гомера.

136. *Меровингских властелинов...* Меровинги — династия франкских королей (V—VIII вв.).

137. *Альхарици* — блестящий представитель новоеврейской поэзии XIII в., написал роман, по остроумию и глубине мысли не уступавший творениям знаменитого арабского поэта Гарири.

— *Макамы* — род стихотворений.

139. *Шлемиль* — герой сказки «Удивительная история Петера Шлемия», написанной современником Г. Гейне, видным немецким писателем Адельбертом Шамиссо (1781—1838). Петер Шлемиль, человек, потерявший собственную тень, — нарицательное имя неудачника. На древнееврейском языке имя Шлемия означает любовь к богу.

140. *И на Гицига сослался...* Гициг Юлий Эдуард (1780—1849) — немецкий юрист и литератор, друг Шамиссо. Происходил из видного еврейского семейства в Берлине — Даниила Ицига. Крестившись, сделал большую карьеру в судебных сферах Берлина.

143. *Только тридцать весен прожил...* Габироль прожил не 30, а 50 лет. Смерть его также дала повод к множеству легенд. Г. Гейне рисует ее в духе упомянутой выше книги Закса.

ДИСПУТ

Написано в 1851 г. (между 9 июля и 28 августа). Может служить блестящим поэтическим показателем, до какой ясности ума, бодрости духа и остроты презрения к представителям разного рода религий подымался порой Г. Гейне, даже лежа в «матрачной могиле». Царской цензурой к переводу в России не допускалось.

145. «*Арбеканфес*» и *нарамник* — еврейские молитвенные принадлежности.

147. *Бланш Бурбон* — французская принцесса, вышла замуж за испанского короля Педро Жестокого (см. прим. к «Испанским атридам»).

149. *Фома Аквинский* (1225—1274) — знаменитый богослов, ненавидел евреев.

150. *Повапленные гробы* — окрашенные гробы.

154. *Левиафан* — гигантская рыба, которой, по иудейскому вероучению, бог в день Страшного суда накормит праведников.

— *Мателот* — уха, приготовленная на вине.

156. «*Мишна*», «*Таусфес-Ионтэф*» — иудейские религиозные книги.

157. *И пуцусь, как Мирьям, в пляс...* Мириам, сестра Моисея, плясала по случаю благополучного перехода евреев через Красное море.

— *Люцифер, Вельзевул, Астарот, Велиал* — различные наименования дьявола.

ЗАМЕТКИ

Заметки были лично подобраны и включены поэтом в 1-е издание «Романцero». Происхождение этих заметок — весьма прозаично: необходимость довести объем сборника до соответствующего размера. Об этом достаточно откровенно говорит письмо Г. Гейне Юлиусу Кампе от 23 сентября 1851 г.: «Теперь я напишу предисловие примерно в печатный лист. Кроме того, указатель, оглавление, которое вы можете сделать без меня, составит тоже четыре страницы, а в конце я постараюсь дать еще несколько страниц и ц при меч а н и й, вероятно, четыре-пять страниц» (XII т. Собр. соч., стр. 222). Необходимость изыскать какой-либо добавочный материал стояла перед Г. Гейне потому так остро, что Ю. Кампе в целях придания книге большего объема стал в последней части книги печатать вместо обычных пяти строф на странице — только четыре. Г. Гейне, предлагая добавить заметки, оглавление и т. п., тут же убеждал Ю. Кампе: «Напишите мне сейчас же, хватит ли вам этого предисловия и оглавления. Во всяком случае, немедленно переделайте набор и прикажите печатать на странице по пяти строф вместо четырех... Все пуговицы должны быть на месте, а при четырехстрочном наборе последней части моей книги я теряю штаны на глазах у всего света» (там же).

163. *Рабби Саломон Аль-Харизи*. Цитата принадлежит Аль-Харизи (см. прим. к «Иегуде бен-Галеви») и взята из упомянутой выше книги Зака.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «РОМАНЦЕРО»

165. *Масман*. См. прим. к стихотворению «Бывший страж ночей».

167. *Да, я возвратился к богу*. В дополнение к тому, что выше, в комментариях к «Романцero», говорилось о характере «мировой» Г. Гейне с богом, нелишне привести здесь выдержку из письма самого же поэта о том, в каком состоянии он писал «Послесловие» (то же, надо полагать, относится и к другим аналогичным документам этого периода): «Я написал его среди страшных болей и в состоянии отупения» (см. письмо к Юлиусу Кампе от 1 октября 1851 г., XII т. Собр. соч., стр. 223). Через месяц, 5 ноября 1851 г., в письме к Георгу Веерту Г. Гейне писал: «Я умираю, как поэт, который не нуждается ни в религии, ни в философии и у которого нет ничего общего с ними» (XIII т. Собр. соч., стр. 238).

СТИХОТВОРЕНИЯ 1853 И 1854 ГОДОВ

Цикл «Стихотворения 1853 и 1854 годов» впервые полностью опубликован в 1854 г., войдя, как самостоятельный раздел, в «Разные произведения Г. Гейне» («Vermischte Schriften von Heinrich Heine», Hamburg, Hoffmann und Campe, 1854, S. 123—214). Французский перевод, принадлежащий перу Сен-Рене-Тейландье, опубликован был почти одновременно с немецким изданием 1 ноября 1854 г. в «Revue des deux Mondes». Г. Гейне, посылая 3 августа 1854 г. «Стихотворения 1853 и 1854 годов» Ю. Кампе, писал последнему: «Эти стихи представляют собой нечто совершенно новое и не передают старых настроений в старой манере; но оценить их призваны или только совершенно наивные натуры или очень большие скептики». В немецких изданиях обыкновенно не принято печатать «Стихотворения 1853 и 1854 годов» как отдельный цикл. В данном издании этот цикл, установленный самим Гейне, сохраняется полностью.

1. АЛКАЯ ПОКОЯ

175. *И с ними гений Джакомо...* Джакомо Мейербер (1791—1864) — композитор. Г. Гейне неоднократно в стихах и в прозе высмеивал Мейерберга, в частности его усиленные заботы о раздвигании собственной славы.

2. В МАЕ

176. *Друзья...* Речь идет о гамбургской родне.

3. ТЕЛО И ДУША

177. *Эоны* — мифические духи, олицетворяющие веру и мудрость

5. ВАВИЛОНСКИЕ ЗАБОТЫ

Под Вавилоном подразумевается Париж, этот «Новый Вавилон» (см. письмо Матильде от 1 октября 1844 г.).

6. НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ

Родственные мотивы см. у Беранже — «Негры и марионетки» и у Проспера Мериме — «Tamango» («Таманго»).

180. *Суперкарго* — владелец коммерческого груза на корабле.

7. АФФРОНТЕНБУРГ

185. *Замок оскорблений* — вилла гамбургского дяди, Саломона Гейне, у которого поэт провел в молодости несколько лет, полных унижений. Горечь и обида оказались настолько сильны в поэте, что через десятки лет он в точности воспроизвел не только нравы и обычаи, царившие в «Замке оскорблений», но и детали его местоположения.

— *Старик Борей* — древнегреческий бог ветра; в данном случае глава дома, Саломон Гейне.

8. К ЛАЗАРИУ

VIII. «*Как молния во тьме провала...*» Вызвано посещением в 1853 г. больного поэта его кузиной Терезой, некогда воспетой поэтом в цикле «Heimkehr» («Опять на родине»). Тяжелое впечатление, произведенное на Терезу больным поэтом (см. ее письмо к нему), не могло не передаться больному Г. Гейне.

Оба предыдущих стихотворения (VI. «Была ты девушкой, была прекрасна» и VII. «Пусть ты оправдана вполне»), возможно, также навеяны встречей с Терезой и воспоминаниями поэта об его отвергнутой некогда любви.

9. СТРЕКОЗА

195. *Дурной компании хуже нет ничего, на чужбине...* Мотив, часто появляющийся в творчестве Г. Гейне, весьма скептически относившегося к массе эмигрантов (см. его письмо от 5 ноября 1851 г. Георгу Веерту и письмо от 21 января 1851 г. к брату Густаву).

196. *Об этом Вергилия скорбел ученик.* Речь идет здесь о Данте («ученик Вергилия»). В письме к Густаву от 21 января 1851 г. Г. Гейне также ссылается на Данте: «В изгнании — на это уже Данте жаловался в «Божественной комедии» — возвращаешься в самом скверном обществе» (XII т. Собр. соч., стр. 193).

10. ВОЗНЕСЕНИЕ

198. *Ксантупа* — сознательно, видимо, в комических целях — исковерканное имя Ксантиппы, жены древнегреческого философа Сократа.

199. *Малибран* (1808—1836) — знаменитая певица (сопрано).

— *Рубини* (1795—1854) — знаменитый итальянский тенор.

— *Марио* (1808—1883) и *Тамбурины* (1800—1876) — итальянские певцы.

12. ФИЛАНТРОП

Возможно, намек на покойного дядю, Саломона Гейне, завещавшего большие суммы различным благотворительным домам, обществам и учреждениям и почти совершенно забывшего в завещании своего племянника-поэта.

14. МИМИ

207. *Гвидо из Ареццо* — знаменитый монах XI в., прославившийся исследованиями по теории музыки.

16. ВОСПОМИНАНИЕ О ГАММОНИИ

209. *Гаммония* — латинское наименование города Гамбурга; богиня-покровительница Гамбурга (см. Г. Гейне, «Германия»).

17. РАЗБОЙНИК И РАЗБОЙНИЦА

211. *Так Пилат спросил и руки вымыл хмуру*. По евангельскому сказанию, Понтий Пилат, римский наместник Иудеи, отдал, хотя и неохотно («умывши руки»), Иисуса на распятие.

18. ПОЭТИКО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ КОТОВ

Сатира на композитора Вагнера и его произведения «Музыка будущего» и «Опера и драма».

213. *Шарантон* — больница для душевнобольных (вблизи Парижа).

19. ГАНС БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ

Видимо, написано в 1848 г. Сатира на эрцгерцога Иоанна Австрийского (1782—1859), которого в 1848 г. франкфуртский парламент провозгласил германским правителем.

214. *Ведь дома еще на почтовом розжке играть ты постигла науку*. Намек на то, что жена Иоанна, Анна Поль, была дочерью начальника почтовой станции.

20. ВОСПОМИНАНИЕ О ДНЯХ ТЕРРОРА В КРЕВИНКЕЛЕ

216. *Кревинкель* — вымышленное название, нечто вроде «города Глупсга» у Салтыкова-Щедрина.

21. АУДИЕНЦИЯ

Написано в 1854 г. Отправлено 15 апреля 1854 г. Юлиусу Кампе взамен ранее включенного в рукопись «Разных стихотворений» «Симплициссимуса I» (так же как и «Аудиенция», посвященного Г. Гервегу) с такого рода характеристикой: «Вместо сурового стихотворения о Гервеге я написал другое, смешное стихотворение и посылаю его вам, первое отпадает» (XII т. Собр. соч., стр. 314). О Гервеге см. прим. к стихотворению «Экс-живой».

Гервег, в связи с успехом его книги «Стихи живого», вышедшей в 1841 г., в 1842 г. совершил триумфальную поездку по Германии, а вслед за тем получил аудиенцию у прусского короля Фридриха-Вильгельма IV. Аудиенция, как и следовало ожидать, ничего не дала, а когда Гервегу стало известно об изданном прусским правительством запрещении задуманного им журнала «Немецкий гонец в Швейцарии», возмущенный поэт тотчас же послал королю протест. Протест попал в печать, и дело кончилось тем, что Гервег был выслан из Пруссии.

217. *Семерки швабов известной...* — Намек на семь дураков в сказке братьев Гримм о семи швабах.

218. *Менцель Вольфганг* (1798—1873) — немецкий литератор. В середине 30-х годов резко выступил на стороне реакции и «прославил» себя постыдными доносами, из-за которых Союзный сейм запретил всю литературную продукцию «Молодой Германии», а в применении к Г. Гейне — даже то, что и впредь будет написано поэтом (см. статью Г. Гейне, посвященную Менцелю: «О доносчике»).

— *От кислой капусты и репы мзня...* Вся эта строфа, как показывает Вальцель, взята Г. Гейне из кукольной комедии о докторе Фаусте, изданной в 1846 г. Зимроком. Вальцель приводит также почти аналогичную строфу из сборника народных песен «Чудесный рог мальчика», изданного в 1805 г. романтиками Арнимом и Брентано.

— *Верните... его права человека!*.. Пародийно звучащая цитата из обращения маркиза Позы к королю Филиппу (III и л л е р, «Дон-Карлос»).

22. КОБЕС I

Сатира на выборы германского императора после революции 1848 г. В лице Кобеса I Г. Гейне выводит Якова Венедя, бывшего левобуржуазного деятеля, после революции перешедшего на сторону реакции и ставшего символом филистерства.

219. *Ремер* — ратуша во Франкфурте на Майне,

221. *Сказал справедливо немецкий поэт...* шутивая ссылка на сказанное самим же Г. Гейне в его «Германии» (XVI глава).

— *Эзон* — греческий баснописец. В одной из своих басен рассказывает, как лягушки обратились к богам с просьбой заменить их царя Чурбана каким-либо лучшим царем и в ответ получили аиста, сожравшего их.

222. *Фулки* — кельнская городская гвардия в старину.

— *Кельнский собор* — был заложен в 1248 г., в период господства католицизма в Германии, но впоследствии, в годы реформации, постройкой приостановлен. В 1842 г прусский король Фридрих-Вильгельм IV предложил возобновить постройку собора, что вызвало резкое возмущение в прогрессивных кругах Германии.

224. *Дрик* (Дрикес) и *Марицебилль* — карнавалы маски.

— *Кирие элейсон* — господа, помилуй (греч.).

23. ЭПИЛОГ

Мотивы этого стихотворения, не случайно являющегося эпилогом ко всему циклу, ярко выражены Г. Гейне за год до его смерти в той характеристике, которую поэт дал сам себе: «М е р т в е ц , ж а ж д у щ и й с а м ы х ж и в ы х н а с л а ж д е н и й ж и з н и» (письмо к Мушке — XII т. Собр. соч., стр. 374).

225. *Сын Фетиды* — Пелид, он же Ахиллес, сильнейший из греческих героев.

БИМИНИ

Впервые опубликовано в 1869 г. Штротдманном. Написано после выхода в свет «Романсеро», то есть после 1851 г. Источником послужила книга Washington Irving «Voyages and Discoveries of the Companions of Columbus», 1831 (Вашингтон Ирвинг, «Путешествие и открытия спутников Колумба»). Г. Гейне широко и вместе с тем чрезвычайно свободно использовал материал Ирвинга, в частности раздел о Хуане Понс-де-Льсон. Менее всего поэт заботился о верности и точности исторических деталей. Все в поэме подчинено основному замыслу, столь характерному для Г. Гейне, — поискам ключа молодости и земного счастья.

227. *Бимини* — один из небольших островов Баготского архипелага в Вест-Индии.

229. *Всплыло раз морское чудо, заново рожденный мир* — речь идет об открытии Америки Христофором Колумбом в 1492 г.

230. *Бертольд Шварц* — монах, изобретший порох в XVI в.

— *Майнцевского чародея*. Г. Гейне здесь ошибочно отождествляет Фауста сотрудника изобретателя книгопечатания Гуттенберга, с доктором Ваустом — героем народной легенды, использованной Гёте в его «Фаусте».

230. *Книга Красоты*. Подразумеваются древнегреческие произведения искусства.

— *Книга Истины* — Ветхий завет.

231. *Банат* — венгерская область.

232. *Кортес* — завоеватель Мексики. Прославился крайней жестокостью.

— *Пизарро Франциско* (1475—1541) — завоеватель Перу. Отличался не меньшей жестокостью.

— *Радецкий граф* — австрийский фельдмаршал. С исключительной беспощадностью подавил в Верхней Италии революционное движение 1848 г.

— *Гайнау* — австрийский генерал. Подавил революционное движение 1848 г. в Венгрии и Италии.

— *Хуан Понс-де-Леон* (1460—1521) — испанский мореплаватель, открыл Флориду. В 1512 г. отправился на двух кораблях, чтобы открыть остров Бимини, на котором, как говорила молва, находился источник, возвращающий молодость. Ирвинг рассказывает, что Понс-де-Леон, вернувшись из этой поездки ни с чем, поручил дальнейшие розыски острова Бимини своему капитану Хуану Перрецу. У Г. Гейне конец представлен иначе.

234. *Кифгейзер*. См. прим. к стихотворению «Фицлипуцли».

238. *Второй Христофор* — Христофор Колумб. «Первый» Христофор — католический святой Христофор, с именем которого связано множество легенд.

— *Ойedo Алонго* (1470—1515) — испанский мореплаватель.

— *Круглый стол Артура* — собрание двенадцати рыцарей легендарного короля Артура.

239. *Вильбао* (1475—1517) — в действительности Бальбоа, испанский мореплаватель, завоеватель Вест-Индии.

— *Армада* — испанский большой флот.

243. *Кля*. Ирвинг рассказывает, что Понс-де-Леон во время своей экспедиции подобрал на одном из островов старуху-индианку, взяв ее на борт своего корабля в качестве проводника.

— *Бридиди* — имя известного в 40-х гг. парижского танцора. Г. Гейне привлекла в этом имени его фонетика.

249. *Геба* — у древних греков богиня юности.

250. *Рококо-антрополофажно, карибо-помладурно* — по сути дела; вычурно.

БАСНИ И РОМАНСЫ 1853—1855 ГОДОВ

1. ПЕСНЬ МАРКИТАНТКИ

Впервые опубликована в 1854 г. в Schads «Deutscher Musenalmanach» с припиской: «Из Тридцатилетней войны».

2. КЛОП

Написано в сентябре 1855 г. Направлено против венского композитора Иосифа Дессауэра в связи с тем, что Дессауэр разглашал интимные подробности своих отношений с известной французской писательницей Жорж Занд.

257 ...*никак не идущих, подобно Шлезингера часам...* намек на золотые часы, подаренные Дессауэру его издателем Шлезингером. Часы оказались плохими.

3. ПЕАН

(Фрагмент)

В 1849 г. Г. Гейне послал в Берлин для постановки в опере свой балет «Фауст». Балет Г. Гейне не был принят. Когда же в 1854 г. Г. Гейне узнал, что в берлинской опере идет балет «Сатанилла», поэт решил, что это и есть его балет. Поэт был твердо уверен, что по вине «генерал-директора» оперы Мейербера балет «Фауст» будто бы переименовали для того, чтобы лишить Г. Гейне законного гонорара. Отсюда намек в стихотворении на «мастерские приемы» Мейербера. Пеан — хоровая песнь древних греков.

4. ЮДОЛЬ СКОРБИ

Впервые напечатано после смерти Г. Гейне, в 1857 г.

8. ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ ПЕС

Послано 8 февраля 1855 г. вместе с басней «Лошадь и осел» сынишке издателя Г. Гейне Юлиуса Кампе. Впервые обе басни опубликованы в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach».

9. ЛОШАДЬ И ОСЕЛ

См. прим. к стихотворению «Добродетельный пес».

10. ПОДСЛУШАННОЕ

Первоначально было намечено к включению в «Стихотворения 1853 и 1854 годов». В своем письме от 15 апреля 1854 г. Г. Гейне предложил, однако, Кампе отложить это стихотворение и не печатать его:

«Маленькое стихотворение «Подслушанное», — писал Г. Гейне, — которое навяжет мне на шею двух богатых гамбургских евреев, отпадает и будет заменено» (XII т. Собр. соч., стр. 304).

11. СИМПЛИЦИССИМУС I

Под «Симплициссимусом I» подразумевается здесь Гервег (см. прим. к стихотворению «Аудиенция»). Имеется в виду предпринятый Гервегом во время революции 1848 г. вооруженный поход немецких эмигрантов в Германию. Этот нелепый поход, организованный Гервегом, несмотря на возражения К. Маркса, кончился полным фиаско. Гервег был вынужден бежать, скрываясь, — как говорили злые языки, — в экипаже, которым правила его жена.

268. *Симплициссимус* — герой «Приключений Симплициссимуса» — популярного романа Гриммельсгаузена (1625—1676), изображающего нравы немецкого общества во время Тридцатилетней войны.

— *Ганс Сакс* — немецкий поэт XVI в., по профессии сапожник.

269. *Жены и бархатной эсiletки*. Жена Гервега, Эмма, дочь богатых родителей, принесла ему большое приданое.

— *Князь Пюклер-Мюскау* — немецкий писатель, друг Г. Гейне, автор книги «Письма мертвого» (1830), в противовес которой Гервег выпустил свои «Стихи живого» (1831).

— *Ламанчский* — Дон-Кихот.

271. *Горацій Флакк* — см. прим. к стихотворению «В октябре 1849».

12. КОРОЛЬ ДЛИННОУХ I

Написано, очевидно, в конце 1852 г. Сатира на законопослушных филистеров. Неизвестно, имел ли в виду Г. Гейне какого-нибудь определенного короля. (Эльстер высказывает предположение, что сатира адресована Луи-Наполеону, королю Франции. Френкель полагает, что речь идет о Фридрихе-Вильгельме IV.)

272. *Август* — римский император, при котором расцвели искусства.

— *Меценат* — римский богач, прославившийся как покровитель искусств.

— *Леманн* (1814—1882) — знаменитый портретист.

273. *Баярд* — легендарный конь, принадлежал четырем рыцарям — «сыновьям Эймона».

— *Готфрид Бульонский* (1058—1100) — один из руководителей первого крестового похода.

273.... *город священный Давида* — Иерусалим.

— *Клио* — в греческой мифологии муза истории.

13. ОСЛЫ-ИЗБИРАТЕЛИ

Впервые опубликовано в 1857 г. в «*Deutscher Musenalmanach*». Посвящено франкфуртскому парламенту, предавшему революцию 1848 года.

14. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ МАССЫ

278. *Борусской* — прусской.

279. *Высоцкий* — остроумный и популярный в 20-х и 30-х гг. берлинский ресторатор.

280. *Масман*. См. прим. к стихотворению «Бывший страж ночей».

15. БРОДЯЧИЕ КРЫСЫ

Опубликовано после смерти Г. Гейне. Говорит о страхе перед коммунизмом, который рисуется испуганному воображению поэта как царство уравниловки. Это не мешало, однако, Г. Гейне за год до смерти в предисловии к «Лютеции» призывать коммунизм, дабы он расправился с дворянством — «нашим, — как писал Г. Гейне, — общим врагом».

Стихотворение вместе с тем полно презрения к власти имущим, а также к обывателям и всякого рода филистерам, дрожащим за свою собственность.

283 *Мирабо* (1749—1791) — видный оратор в начале Французской революции 1789 г.

— *Цицерон* (106—43 до н. э.) — известнейший оратор древнего Рима.

16. 1649—1793—???

283. *Карл I* (1600—1649) — английский король, по революционному приговору был казнен в 1649 г.

— *Уайтхолл* — место казни Карла I, замок в Лондоне.

— *Луи Капет* — Людовик XVI (1754—1793), французский король, по революционному приговору был казнен в 1793 г.

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 1853—1856 ГОДОВ

1. В ИХ ПОЦЕЛУЯХ КРЫЛСЯ ПУТЬ К ИЗМЕНАМ...

«Посвящено» гамбургской родне (см. «Аффронтенбург», «Тот в ком сердце есть»),

2. ОРФЕИСТИЧЕСКОЕ

«Посвящено» дяде поэта, Саломону Гейне.

288. *Орфей* — в греческой мифологии певец, укрощавший своим пением диких зверей и стихии.

3. ВСПОМИНАТЬ О НЕМ НЕ НАДО...

Впервые опубликовано в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach». Речь идет о дяде поэта, Саломоне Гейне.

4. В ДИКОМ ВЕШЕНСТВЕ НОЧАМИ...

Впервые опубликовано в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach».

5. ТОТ, В КОМ СЕРДЦЕ ЕСТЬ...

Впервые опубликовано в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach». Адресовано опять-таки гамбургской родне. Источником своим имеет договор поэта с его кузеном Карлом, в силу которого поэт за сохранение пенсии обязался не писать ничего порочащего его родню.

8. ОТХОДЯЩИЙ

См. стихотворение «Эпилог» и прим. к нему.

9. ЦИТРОНИЯ

293. *Тантал* — сын Зевса, за нанесенное богам оскорбление был осужден стоять по горло в воде под спелыми плодами и вечно томиться жаждой и голодом.

294. *Голубой цветок* — издевка над туманным и мистическим образом «голубого цветка» в романе «Генрих фон-Офтердинген» видного дворянского романтика Новалиса (1772—1801).

10. БУКЕТ МАТИЛЬДЫ...

Впервые опубликовано в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach». Гессель относит время написания этого стихотворения к 1846 г. («Erklärung», S. 519).

11. МОЙ ДЕНЬ БЫЛ ЯСЕН...

Впервые опубликовано в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach». Гессель относит время написания этого стихотворения к 1846 г. («Erklärung», S. 521). Характер стихотворения заставляет, однако, усомниться в правильности этой мысли,

12. ТВОИМ, ОВЕЧКА, ПАСТУХОМ. . .

Впервые опубликовано в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach». Гессель и это стихотворение относит к 1846 г. («Erklärung», S. 518).

18. ТЯЖЕЛО ЗЕМЛЯ БОЛЬНА. . .

Впервые опубликовано в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach».

19. MISERERE

Впервые опубликовано в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach».

302. *Прозерпина* — в римской мифологии супруга Плутона, властелина преисподней.

20. КАК НИ ПРЕКРАСЕН, — ПОЛОН МУК...

Впервые опубликовано Эльстером в его втором издании собрания сочинений Г. Гейне (Heines Werke, Herausgegeben von Ernst Elster. Zweite kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. Bibliographisches Institut. Leipzig, B. II, S. 290).

На русском языке публикуется впервые.

21. ПЕСКУ В ЧАСАХ — ЛИШЬ ГОРСТЬ ОДНА...

Впервые опубликовано в 1857 г. в «Deutscher Musenalmanach».

22. МОРФИНА

Впервые опубликовано в январе 1863 г. в «Orion». Написано не позже 1851 г. Первоначальный заголовок «Fragment» («Отрывок»). Г. Гейне собирался было включить «Морфину» в «Романцеры», но затем передумал и отложил, видимо, не считая это стихотворение достаточно совершенным.

26. МОЕМУ БРАТУ МАКСУ

Написано в 1852 г., по случаю возвращения младшего брата поэта Макса в Петербург, где он служил врачом.

29. АЛЛИЛУИЯ

Впервые опубликовано в 1857 г. в Schads «Deutscher Musenalmanach».

30. ЗАВЕЩАНИЕ

314. *Кузен* — Рудольф Христиани. Был женат на кузине поэта. Либерал. В 1839 г. выступил на защиту ганноверской конституции, нарушенной королем Эрнстом-Августом.

— *Охраннику нравственных высот...* обращено к Вольфгангу Менцелю (1798—1873), — см. прим. к стихотворению «Аудиенция».

— *Мое лицо вам неприятно* — в 1837 г. неоднократно высмеивавшиеся Г. Гейне поэты патриархальной «швабской школы» отказались участвовать в «Альманахе муз» Шамиссо, когда последний решил приложить к альманаху портрет Г. Гейне.

— *Завещаю бутылку слабительных вод...* адресовано видному немецкому поэту Людвигу Уланду (1787—1862), уже долгие годы не писавшему стихов.

31. МУШКЕ

314. *Мушка* — Элиза фон-Криниц (1834—1896), писательница, последняя любовь Г. Гейне (см. его письма к ней в XII т. Собр. соч.). Издала под псевдонимом Камиллы Зельден книги о последних днях Г. Гейне («Les derniers jours de Henri Heine», 1884, и «Heinrich Heine, aus seinem Leben», 1888).

32. ЛОТОС (МУШКЕ)

«Последнее, написанное всего лишь за две-три недели до смерти» стихотворение Г. Гейне, — так говорит об этом стихотворении в своих воспоминаниях А. Мейснер («Erinnerungen», S. 249).

33. ВМЕСТО ДЕЛ — ЗАСИЛЬЕ СЛОВА!

Обращено к «Мушке». См. прим. к стихотворению «Мушке».

34. ВЕЛИ ИССЕЧЬ МЕНЯ ХЛЫСТАМИ...

Обращено к «Мушке». См. прим. к стихотворению «Мушке».

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Фронтиспис	VI—VII
Титульный лист первого издания «Романцеров» 1851 г.	16—17
Памятник Г. Гейне на кладбище Монмартр в Париже работы скульптора Госсельриис 1901 г.	160—161
Г. Гейне. Мраморная доска работы скульптора Г. Бер- вальда.	288—289

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РОМАНЦЕРО

КНИГА ПЕРВАЯ. «ИСТОРИИ»

Эпиграф. <i>Перевод А. Мушниковой</i>	1
Рампсент. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	—
Белый слон. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	4
Шельм-фон-Берген. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	9
Валькирии. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	11
Поле битвы при Гастингсе. <i>Перевод А. Блока и Е. Книпович.</i>	12
Карл I. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	16
Мария-Антуанетта. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	17
Помаре. <i>Перевод Л. Мей</i>	20
Бог Аполлон. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	23
Маленький народец. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	27
Два рыцаря. <i>Перевод О. Румера</i>	28
Золотой телец. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	30
Царь Давид. <i>Перевод М. Лозинского</i>	31
Король Ричард. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	—
Азра. <i>Перевод В. Брюсова</i>	32
Христовы невесты. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	33
Пфальцграфиня Ютта. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	34
Мавританский король. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	35
Жофруа Рудель и Мелисанда Триполи. <i>Перевод В. Костомарова</i>	37
Поэт Фердауси. <i>Перевод В. Левика</i>	40
Ночная поездка. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	45
Фицлипуцли. <i>Перевод Е. Дмитриевского</i>	47

КНИГА ВТОРАЯ. «ЛАМЕНТАЦИИ»

Эпиграф. <i>Перевод В. Ецина</i>	67
Лесное уединение. <i>Перевод В. Ецина</i>	—
Испанские атриды. <i>Перевод Е. Дмитриевского</i>	72
Экс-живой. <i>Перевод В. Левика</i>	81
Бывший страж ночей. <i>Перевод Марка Тарловского</i>	82
Платениды. <i>Перевод А. Мушниковой</i>	86
Мифология. <i>Перевод А. Мушниковой</i>	87

Матильде в альбом. <i>Перевод В. Левика</i>	88
Юным. <i>Перевод П. Вейнберга</i>	—
Неверующий. <i>Перевод В. Аренса</i>	—
Katzen-Jammer. <i>Перевод Марка Тарловского</i>	89
Семейное счастье. <i>Перевод Вс. Розидественского</i>	—
Теперь куда? <i>Перевод В. Костомарова</i>	90
Старая песня. <i>Перевод Л. Руст</i>	91
Гарантия. <i>Перевод А. Оношкович-Яцыны</i>	92
Старая роза. <i>Перевод Марка Тарловского</i>	—
Ауто-да-фе. <i>Перевод В. Костомарова</i>	93
Лазарь	—
1. Ход жизни. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	—
2. Оглядка. <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	94
3. Воскресение из мертвых <i>Перевод Е. Дмитриевского</i>	95
4. Умиравший. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	96
5. Голь. <i>Перевод П. Вейнберга</i>	—
6. Воспоминание. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	97
7. Несовершенство. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	—
8. Благочестивое предостережение. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	98
9. Охладелый. <i>Перевод В. Левика</i>	99
10. Соломон. <i>Перевод А. Ефременкова</i>	—
11. Погибшие надежды. <i>Перевод В. Левика</i>	100
12. Поминки. <i>Перевод В. Костомарова</i>	101
13. Свидание. <i>Перевод А. Ефременкова</i>	102
14. Госпожа Забота. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	103
15. К ангелам. <i>Перевод А. Ефременкова</i>	—
16. В октябре 1849. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	104
17. Дурные сны. <i>Перевод А. Ефременкова</i>	106
18. Она угасла. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	107
19. Духовная. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	108
20. <i>Enfant perdu</i> . <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	—

КНИГА ТРЕТЬЯ. «ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ»

Эпиграф. <i>Перевод А. Мушиковой</i>	110
Принцесса Шабаш. <i>Перевод А. Майкова</i>	—
Иегуда бен-Галеви <i>Перевод В. Левика</i>	115
1. Да прилипнет в жажде к небу...	—
II. Так на реках вавилонских...	121
III. После битвы при Арбеллах	127
IV. Рассердил мою супругу...	135
Диспут. <i>Перевод И. Мандельштама</i>	144

ЗАМЕТКИ

Перевод Е. Лундберга

I. Рампсенит	159
II. Поле битвы при Гастингсе	162

III. Воспоминание	163
IV. Иегуда бен-Галеви	—

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «РОМАНЦЕРО»

<i>Перевод Е. Лундберга</i>	164
---------------------------------------	-----

СТИХОТВОРЕНИЯ 1853 и 1854 годов

1. Алкая покоя. <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	175
2. В мае. <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	176
3. Тело и душа. <i>Перевод Е. Дмитриевского</i>	—
4. Красные туфли. <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	177
5. Вавилонские заботы. <i>Перевод А. Мушниковой</i>	179
6. Невольничий корабль. <i>Перевод В. Левика</i>	180
7. Аффронтенбург. <i>Перевод В. Левика</i>	185
8. К Лазарю	187
I. Брось свои иносказанья... <i>Перевод М. Михайлова</i>	—
II. Висок мой — вся в черном — госпожа... <i>Перевод Марка Тарловского</i>	188
III. Ах, как медлительно ползет... <i>Перевод Ф. Мюллера</i>	—
IV. Цветы цвели необозримо... <i>Перевод Л. Руст</i>	189
V. Я наблюдал их смех, их взоры... <i>Перевод Л. Руст</i>	—
VI. Была ты девушкой, была прекрасна... <i>Перевод Л. Руст</i>	190
VII. Пусть ты оправдана вполне... <i>Перевод Л. Руст</i>	191
VIII. Как молния во тьме провала... <i>Перевод Марка Тарловского</i>	192
IX. Женщина и истый сфинкс... <i>Перевод Марка Тарловского</i>	—
X. Три пряжи сидят у распутья... <i>Перевод Марка Тарловского</i>	193
XI. Я не стремлюсь быть в райских кущах... <i>Перевод Л. Руст</i>	—
9. Стрекоза. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	194
10. Вознесение. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	196
11. Рожденные друг для друга. <i>Перевод Е. Дмитриевского</i>	200
12. Филантроп. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	201
13. Капризы влюбленных. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	204
14. Мими. <i>Перевод Е. Дмитриевского</i>	206
15. Добрый совет. <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	208
16. Воспоминание о Гаммонии. <i>Перевод В. Левика</i>	209
17. Разбойник и разбойница. <i>Перевод Е. Бируковой</i>	210
18. Поэтико-музыкальный союз молодых котов. <i>Перевод Е. Дмитриевского</i>	211
19. Ганс Безземельный. <i>Перевод Е. Дунаевского</i>	214
20. Воспоминание о днях террора в Кривинкеле. <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	216
21. Аудиенция. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	217
22. Кобес I. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	219
23. Эпилог. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	224

БИМИНИ

Перевод Л. Руст

Пролог	229
I. На безлюдном побережье...	235
II. И на суше верен рыцарь...	243
III. Нынче щедро залит солнцем...	245
IV. Ни глупцом, ни полоумным...	251

БАСНИ И РОМАНСЫ 1853—1855 ГОДОВ

1. Песнь маркитантки. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	255
2. Клоп. <i>Перевод Е. Дунаевского</i>	256
3. Пеан. <i>Перевод Е. Дунаевского</i>	257
4. Юдоль скорби. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	258
5. Эдуард. <i>Перевод Е. Дмитриевского</i>	259
6. Дуэль. <i>Перевод В. Левика</i>	260
7. Эпоха кос. <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	261
8. Добродетельный пес. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	262
9. Лошадь и осел. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	264
10. Подслушанное. <i>Перевод М. Усовой</i>	266
11. Симплициссимус I. <i>Перевод Е. Дунаевского</i>	268
12. Король Длинуох I. <i>Перевод М. Усовой</i>	271
13. Ослы-избиратели. <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	275
14. Все зависит от массы. <i>Перевод А. Мушиковой</i>	278
15. Бродячие крысы. <i>Перевод А. Мушиковой</i>	281
16. 1649—1793 — ??? <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	283

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 1853—1856 ГОДОВ

1. В их поцелуях крылся путь к изменам... <i>Перевод Марка Тарловского</i>	287
2. Орфейстическое. <i>Перевод Л. Руст</i>	—
3. «Вспоминать о нем не надо!»... <i>Перевод Д. Минаева</i>	288
4. В дином бешенстве ночами... <i>Перевод Л. Руст</i>	289
5. Тот, в ком сердце есть, — а в сердце... <i>Перевод Л. Руст</i>	—
6. Я жалил стихом и ночью и днем... <i>Перевод А. Мушиковой</i>	290
7. Добрый совет. <i>Перевод В. Левика</i>	—
8. Отходящий. <i>Перевод А. Мушиковой</i>	291
9. Цитрония. <i>Перевод В. Левика</i>	—
10. Букет Матильды, дышавший весной... <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	294
11. Мой день был ясен, ночь моя светла... <i>Перевод В. Левика</i>	295
12. Твоим, овечка, пастухом... <i>Перевод Л. Руст</i>	296
13. Я чашу страсти осушил... <i>Перевод А. Мушиковой</i>	—
14. Пылают и пляшут в моем мозгу... <i>Перевод Л. Руст</i>	297
15. Когда достаточно пивявки сыты... <i>Перевод Марка Тарловского</i>	299

16. Вечность, ох, как ты долга!.. <i>Перевод Марка Тарловского</i>	300
17. Час за часом, дни и годы... <i>Перевод Л. Руст</i>	—
18. Тяжело земля больна... <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	—
19. Miserege. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	302
20. Как ни прекрасен, — полон мук... <i>Перевод О. Румера</i>	303
21. Песку в часах — лишь горсть одна... <i>Перевод В. Левика</i>	—
22. Морфина. <i>Перевод Е. Дмитриевского</i>	304
23. Предостережение. <i>Перевод Е. Дунаевского</i>	305
24. К сведению. <i>Перевод В. Левика</i>	—
25. Ни увереньями, ни лестью... <i>Перевод Марка Тарловского</i>	—
26. Моему брату Максу. <i>Перевод В. Левика</i>	306
27. Средневековая грубость. <i>Перевод Марка Тарловского</i>	—
28. К телеологии. <i>Перевод В. Левика</i>	307
29. Аллилуйя. <i>Перевод А. Мушниковой</i>	310
30. Завещание. <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	313
31. Мушке. <i>Перевод Л. Руст</i>	314
32. Лотос. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	315
33. Место дел — засилье слова!.. <i>Перевод Марка Тарловского</i>	316
34. Вели иссечь меня хлыстами... <i>Перевод Л. Руст</i>	—
35. Я видел сон: луной озарены... <i>Перевод В. Левика</i>	317

ВАРИАНТЫ И КОММЕНТАРИИ

Варианты	325
Комментарии	332
Перечень иллюстраций	366

Редактор Я. М. Металлов.
Технический редактор
Л. А. Чалова.

*

Сдано в набор 5/IV 1937 г.
Подпис. к печ. 1/II 1939.
Тираж 15 000. Уполномоч.
Гавлита № А-2649. Индекс
А-1. Авт. л. 21,7. У.-а. л. 22,4.
Бум. 82×110 в 1/32. Бум.
л. 5,94. Заказ № 937.

*

Отпечатано во 2-й типо-
графии ОГИЗа РСФСР тре-
ста «Полиграфкнига» «Пе-
чатный Двор» имени А. М.
Горького. Ленинград, Гат-
чинская, 26.

Цена Р. 8. —
Переплет Р. 2. —

